

Александр Иванович Куприн

Молох

I

Заводский гудок протяжно ревел, возвещая начало рабочего дня. Густой, хриплый, непрерывный звук, казалось, выходил из-под земли и низко расстилался по ее поверхности. Мутный рассвет дождливого августовского дня придавал ему суровый оттенок тоски и угрозы.

Гудок застал инженера Боброва за чаем. В последние дни Андрей Ильич особенно сильно страдал бессонницей. Вечером, ложась в постель с тяжелой головой и поминутно вздрагивая, точно от внезапных толчков, он все-таки забывался довольно скоро беспокойным, нервным сном, но просыпался задолго до света, совсем разбитый, обессиленный и раздраженный.

Причиной этому, без сомнения, было нравственное и физическое переутомление, а также давняя привычка к подкожным впрыскиваниям морфия, – привычка, с которой Бобров на днях начал упорную борьбу.

Теперь он сидел у окна и маленькими глотками прихлебывал чай, казавшийся ему травянистым и безвкусным. По стеклам зигзагами сбегали капли. Лужи на дворе морщило и рябило от дождя. Из окна было видно небольшое квадратное озеро, окруженное, точно рамкой, косматыми ветлами, с их низкими голыми стволами и серой зеленью. Когда поднимался ветер, то на поверхности озера вздувались и бежали, будто торопясь, мелкие, короткие волны, а листья ветел вдруг подергивались серебристой сединой. Блеклая трава бессильно приникала под дождем к самой земле. Дома ближайшей деревушки, деревья леса, протянувшегося зубчатой темной лентой на горизонте, поле в черных и желтых заплатках – все вырисовывалось серо и неясно, точно в тумане.

Было семь часов, когда, надев на себя клеенчатый плащ с капюшоном, Бобров вышел из дому. Как многие нервные люди, он чувствовал себя очень нехорошо по утрам: тело было слабо, в глазах ощущалась тупая боль, точно кто-то давил на них сильно снаружи, во рту – неприятный вкус. Но всего большее действовал на него тот внутренний, душевный разлад, который он примечал в себе с недавнего времени. Товарищи Боброва, инженеры, глядевшие на жизнь с самой несложной, веселой и практической точки зрения, наверно, осмеяли бы то, что причиняло ему столько тайных страданий, и уж во всяком случае не поняли бы его. С каждым днем в нем все больше и больше нарастало отвращение, почти ужас к службе на заводе.

По складу его ума, по его привычкам и вкусам ему лучше всего было посвятить себя кабинетным занятиям, профессорской деятельности или сельскому хозяйству. Инженерное дело не удовлетворяло его, и, если бы не настоятельное желание матери, он оставил бы институт еще на третьем курсе.

Его нежная, почти женственная натура жестоко страдала от грубых прикосновений действительности, с ее будничными, но суровыми нуждами. Он сам себя сравнивал в этом отношении с человеком, с которого заживо содрали кожу. Иногда мелочи, не замеченные другими, причиняли ему глубокие и долгие огорчения.

Наружность у Боброва была скромная, неяркая... Он был невысок ростом и довольно худ, но в нем чувствовалась нервная, порывистая сила. Большой белый прекрасный лоб прежде всего обращал на себя внимание на его лице. Расширенные и притом неодинаковой величины зрачки были так велики, что глаза вместо серых казались черными. Густые, неровные брови сходились у переносья и придавали этим глазам строгое, пристальное и точно аскетическое выражение. Губы у Андрея Ильича были нервные, тонкие, но не злые, и немного несимметричные: правый угол рта приходился немного выше левого; усы и борода маленькие, жидкие, белесоватые, совсем мальчишеские. Прелесть его в сущности

некрасивого лица заключалась только в улыбке. Когда Бобров смеялся, глаза его становились нежными и веселыми, и все лицо делалось привлекательным.

Пройдя полверсты, Бобров взобрался на пригорок. Прямо под его ногами открылась огромная панорама завода, раскинувшегося на пятьдесят квадратных верст. Это был настоящий город из красного кирпича, с лесом высоко торчащих в воздухе закопченных труб, – город, весь пропитанный запахом серы и железного угара, оглушаемый вечным несмолкаемым грохотом. Четыре доменные печи господствовали над заводом своими чудовищными трубами. Рядом с ними возвышалось восемь кауперов, предназначенных для циркуляции нагретого воздуха, – восемь огромных железных башен, увенчанных круглыми куполами. Вокруг доменных печей разбросались другие здания: ремонтные мастерские, литейный двор, промывная, паровозная, рельсопрокатная, мартеновские и пудлинговые печи и так далее.

Завод спускался вниз тремя громадными природными площадями. Во всех направлениях сновали маленькие паровозы. Показываясь на самой нижней ступени, они с пронзительным свистом летели наверх, исчезали на несколько секунд в туннелях, откуда вырывались, окутанные белым паром, гремели по мостам и, наконец, точно по воздуху, неслись по каменным эстакадам, чтобы сбросить руду и кокс в самую трубу доменной печи.

Дальше, за этой природной террасой, глаза разбегались на том хаосе, который представляла собою местность, предназначенная для возведения пятой и шестой доменных печей. Казалось, какой-то страшный подземный переворот выбросил наружу эти бесчисленные груды щебня, кирпича разных величин и цветов, песчаных пирамид, гор плитняка, штабелей железа и леса. Все это было нагромождено как будто бы без толку, случайно. Сотни подвод и тысячи людей суетились здесь, точно муравьи на разоренном муравейнике. Белая тонкая и едкая известковая пыль стояла, как туман, в воздухе.

Еще дальше, на самом краю горизонта, около длинного товарного поезда толпились рабочие, разгружавшие его. По наклонным доскам, спущенным из вагонов, непрерывным потоком катились на землю кирпичи; со звоном и дребезгом падало железо; летели в воздухе, изгибаясь и пружинясь на лету, тонкие доски. Одни подводы направлялись к поезду порожняком, другие вереницей возвращались оттуда, нагруженные доверху. Тысячи звуков смешивались здесь в длинный скачущий гул: тонкие, чистые и твердые звуки каменщицких зубил, звонкие удары клепальщиков, чеканящих заклепы на котлах, тяжелый грохот паровых молотов, могучие вздохи и свист паровых труб и изредка глухие подземные взрывы, заставлявшие дрожать землю.

Это была страшная и захватывающая картина. Человеческий труд кипел здесь, как огромный, сложный и точный механизм. Тысячи людей – инженеров, каменщиков, механиков, плотников, слесарей, землекопов, столяров и кузнецов – собрались сюда с разных концов земли, чтобы, повинаясь железному закону борьбы за существование, отдать свои силы, здоровье, ум и энергию за один только шаг вперед промышленного прогресса.

Нынешний день Бобров особенно нехорошо себя чувствовал. Иногда, хотя и очень редко – раза три или четыре в год, у него являлось весьма странное, меланхолическое и вместе с тем раздражительное настроение духа. Случалось это обыкновенно в пасмурные осенние утра или по вечерам, во время зимней ростепели. Все в его глазах приобретало скучный и бесцветный вид, человеческие лица казались мутными, некрасивыми или болезненными, слова звучали откуда-то издали, не вызывая ничего, кроме скуки. Особенно раздражали его сегодня, когда он обходил рельсопрокатный цех, бледные, выпачканные углем и высушенные огнем лица рабочих. Глядя на их упорный труд в то время, когда их тела обжигал жар раскаленных железных масс, а из широких дверей дул пронзительный осенний ветер, он сам как будто бы испытывал часть их физических страданий. Ему тогда становилось стыдно и за свой выхоленный вид, и за свое тонкое белье, и за три тысячи своего годового жалованья...

Он стоял около сварочной печи, следя за работой. Каждую минуту громадный пылающий зев печи широко раскрывался, чтобы поглощать один за другим двадцатипудовые «пакеты» раскаленной добела стали, только что вышедшие из пламенных печей. Через четверть часа они, протянувшись с страшным грохотом через десятки станков, уже складывались на другом конце мастерской длинными, гладкими, блестящими рельсами.

Кто-то тронул Боброва сзади за плечо. Он досадливо обернулся и увидел одного из сослуживцев – Свежевского.

Этот Свежевский, с его всегда немного согнутой фигурой, – не то крадущейся, не то кланяющейся, – с его вечным хихиканьем и потиранием холодных, мокрых рук, очень не нравился Боброву. В нем было что-то заискивающее, обиженное и злобное. Он вечно знал раньше всех заводские сплетни и выкладывал их с особенным удовольствием перед тем, кому они были наиболее неприятны; в разговоре же нервно суетился и ежеминутно притрогивался к бокам, плечам, рукам и пуговицам собеседника.

– Что это вас, батенька, так давно не видно? – спросил Свежевский; он хихикал и мял в своих руках руку Андрея Ильича. – Все сидите и книжки почитываете? Почитываете все?

– Здравствуйте, – отозвался нехотя Бобров, отымая руку. – Просто мне нездоровилось это время.

– У Зиненко за вами все соскучились, – продолжал многозначительно Свежевский. – Отчего вы у них не бываете? А там третьего дня был директор и о вас справлялся. Разговор зашел как-то о доменных работах, и он о вас отзывался с большой похвалой.

– Весьма польщен, – насмешливо поклонился Бобров.

– Нет, серьезно... Говорил, что правление вас очень ценит, как инженера, обладающего большими знаниями, и что вы, если бы захотели, могли бы пойти очень далеко. По его мнению, нам вовсе не следовало бы отдавать французам вырабатывать проект завода, если дома есть такие сведущие люди, как Андрей Ильич. Только...

«Сейчас что-нибудь неприятное скажет», – подумал Бобров.

– Только, говорит, нехорошо, что вы так удаляетесь от общества и производите впечатление замкнутого человека. Никак не поймешь, кто вы такой на самом деле, и не знаешь, как с вами держаться. Ах, да! – вдруг хлопнул себя по лбу Свежевский. – Я вот болтаю, а самое важное позабыл вам сказать... Директор просил всех быть непременно завтра к двенадцатичасовому поезду на вокзале.

– Опять будем встречать кого-нибудь?

– Совершенно верно. Угадайте, кого?

Лицо Свежевского приняло лукавое и торжествующее выражение. Он потирал руки и, по-видимому, испытывал большое удовольствие, готовясь сообщить интересную новость. – Право, не знаю, кого... Да я и не мастер вовсе угадывать, – сказал Бобров.

– Нет, голубчик, отгадайте, пожалуйста... Ну, хоть так, наугад, кого-нибудь назовите...

Бобров замолчал и стал с преувеличенным вниманием следить за действиями парового крана. Свежевский заметил это и засуетился еще больше прежнего.

– Ни за что не скажете... Ну, да я уже не буду вас больше томить. Ждут самого Квашнина.

Фамилию он произнес с таким откровенным подобострастием, что Боброву даже сделалось противно.

– Что же вы тут находите особенно важного? – спросил небрежно Андрей Ильич.

– Как «что же особенно»? Помилуйте. Ведь он в правлении, что захочет, то и делает: его, как оракула, слушают. Вот и теперь: правление уполномочило его ускорить работы, то есть, иными словами, он сам себя уполномочил к этому. Вы увидите, какие громы и молнии у нас пойдут, когда он приедет. В прошлом году он постройку осматривал – это, кажется, до вас еще было?... Так директор и четверо инженеров полетели со своих мест к черту. У вас

задувка ¹ скоро окончится?

– Да, уже почти готова.

– Ну, это хорошо. При нем, значит, и открытие отпразднуем и начало каменных работ. Вы Квашнина самого встречали когда-нибудь?

– Ни разу. Фамилию, конечно, слышал...

– А я так имел удовольствие. Это ж, я вам доложу, такой тип, каких больше не увидите. Его весь Петербург знает. Во-первых, так толст, что у него руки на животе не сходятся. Не верите? Честное слово. У него и особая карета такая есть, где вся правая сторона отворяется на шарнирах. При этом огромного роста, рыжий, и голос, как труба иерихонская. Но что за умница! Ах, боже мой!.. Во всех акционерных обществах состоит членом правления... получает двести тысяч всего только за семь заседаний в год! Зато уже, когда на общих собраниях надо спасти ситуацию, лучше его не найти. Самый сомнительный годовой отчет он так доложит, что акционерам черное белым покажется, и они потом уже не знают, как им выразить правлению свою благодарность. Главное: он никогда и с делом-то вовсе незнаком, о котором говорит, и берет прямо апломбом. Вы завтра послушаете его, так, наверно, подумаете, что он всю жизнь только и делал, что около доменных печей возился, а он в них столько же понимает, сколько я в санскритском языке.

– На-ра-ра-ра-рам! – фальшиво и умышленно небрежно запел Бобров, отворачиваясь.

– Да вот... на что лучше... Знаете, как он принимает в Петербурге? Сидит голый в ванне по самое горло, только голова его рыжая над водою сияет, – и слушает. А какой-нибудь тайный советник стоит, почтительно перед ним согнувшись, и докладывает... Обжора он ужасный... и действительно умеет поесть; во всех лучших ресторанах известны битки а La Квашнин. А уж насчет бабья и не говорите. Три года тому назад с ним прекомичный случай вышел...

И, видя, что Бобров собирается уйти, Свежевский схватил его за пуговицу и умоляюще зашептал:

– Позвольте... это так смешно... позвольте, я сейчас... в двух словах. Видите ли, как дело было. Приезжает осенью, года три тому назад, в Петербург один бедный молодой человек – чиновник, что ли, какой-то... я даже его фамилию знаю, только не могу теперь вспомнить. Хлопочет этот молодой человек о спорном наследстве и каждое утро, возвращаясь из присутственных мест, заходит в Летний сад, посидеть четверть часа на скамеечке... Ну-с, хорошо. Сидит он три дня, четыре, пять и замечает, что ежедневно с ним гуляет по саду какой-то рыжий господин необычайной толщины... Они знакомятся. Рыжий, который оказывается Квашниным, разузнает от молодого человека все его обстоятельства, принимает в нем участие, жалеет... Однако фамилии ему своей не говорит. Ну-с, хорошо. Наконец однажды рыжий предлагает молодому человеку: «А что, согласились ли бы вы жениться на одной особе, но с уговором – сейчас же после свадьбы с ней разъехаться и больше не видаться?» А молодой человек как раз в это время чуть с голоду не умирал. «Согласен, говорит, только смотря по тому, какое вознаграждение, и деньги вперед». Заметьте, тоже молодой человек знает, с какого конца спаржу едят. Ну-с, хорошо... Сговорились они. Через неделю рыжий одевает молодого человека во фрак и чуть свет везет куда-то за город, в церковь. Народу никого; невеста уже дожидается, вся закутанная в вуаль, однако видно, что хорошенькая и совсем молодая. Начинается венчание. Только молодой человек замечает, что его невеста стоит какая-то печальная. Он ее и спрашивает шепотом: «Вы, кажется, против своей охоты сюда приехали?» А она говорит: «Да и вы, кажется, тоже?» Так они и объяснились между собой. Оказывается, что девушку принудила выйти замуж ее же мать. Прямо-то отдать дочь Квашнину маменьке все-таки мешала совесть... Ну-с, хорошо... Стоят они, стоят... молодой человек-то и говорит: «А давайте-ка удерем такую

¹ Задувкой доменной печи называется разогревание ее перед началом работы до температуры плавления руды, приблизительно до 1600°С. Самое действие печи называется «кампанией». Задувка продолжается иногда несколько месяцев. (Прим. автора).

штуку: оба мы с вами молоды, впереди еще для нас может быть много хорошего, давайте-ка оставим Квашнина на бобах». Девушка решительная и с быстрым соображением. «Хорошо, говорит, давайте». Окончилось венчанье, выходят все из церкви, Квашнин так и сияет. А молодой человек даже и деньги с него вперед получил, да и немалые деньги, потому что Квашнин в этих случаях ни за какими капиталами не постоит. Подходит он к молодым и поздравляет с самым ироническим видом. Те слушают его, благодарят, посаженным папенькой называют, и вдруг оба – прыг в коляску. «Что такое? Куда?» – «Как куда? На вокзал, свадебную поездку совершать. Кучер, пошел!.. « Так Василий Терентьевич и остался на месте с разинутым ртом... А то вот однажды... Что это? Вы уже уходите, Андрей Ильич? – прервал свою болтовню Свежевский, видя, что Бобров с решительным видом поправляет на голове шляпу и застегивает пуговицы пальто.

– Извините, мне некогда, – сухо ответил Бобров. А что касается вашего анекдота, то я его еще раньше где-то слышал или читал... Мое почтение.

И, повернувшись спиной к Свежевскому, озадаченному его резкостью, он быстро вышел из мастерской.

III

Вернувшись с завода и наскоро пообедав, Бобров вышел на крыльцо. Кучер Митрофан, еще раньше получивший приказание оседлать Фарватера, гнедую донскую лошадь, с усилием затягивал подпругу английского седла. Фарватер надувал живот и несколько раз быстро изгибал шею, лоя зубами рукав Митрофановой рубашки. Тогда Митрофан кричал на него сердитым и ненатуральным басом: «Но-о! Балуй, идол!» – и прибавлял, кряхтя от напряжения: «Ишь ты, животная».

Фарватер – жеребец среднего роста, с массивною грудью, длинным туловищем и поджарым, немного вислым задом – легко и стройно держался на крепких мохнатых ногах, с надежными копытами и тонкой бабкой. Знаток остался бы недоволен его горбоносой мордой и длинной шеей с острым, выдающимся кадыком. Но Бобров находил, что эти особенности, характерные для всякой донской лошади, составляют красоту Фарватера так же, как кривые ноги у таксы и длинные уши у сеттера. Зато во всем заводе не было лошади, которая могла бы обскакать Фарватера.

Хотя Митрофан и считал необходимым, как и всякий хороший русский кучер, обращаться с лошады сурово, отнюдь не позволяя ни себе, ни ей никаких проявлений нежности, и поэтому называл ее и «каторжной», и «падалью», и «убивцею», и даже «хамлетом», тем не менее он в глубине души страстно любил Фарватера. Эта любовь выражалась в том, что донской жеребчик был и вычищен лучше и овса получал больше, чем другие казенные лошади Боброва: Ласточка и Черноморец.

– Поил ты его, Митрофан? – спросил Бобров.

Митрофан ответил не сразу. У него была и еще одна повадка хорошего кучера – медлительность и степенность в разговоре.

– Попоил, Андрей Ильич, как же не попоимши-то. Но, ты, озирайся, леший! Я тебе поверчу морду-то! – крикнул он сердито на лошадь. – Страсть, барин, как ему охота нынче под седлом идти. Не терпится.

Едва только Бобров подошел к Фарватеру и, взяв в левую руку поводья, обмотал вокруг пальцев гривку, как началась история, повторявшаяся чуть ли не ежедневно. Фарватер, уже давно косившийся большим сердитым глазом на подходившего Боброва, начал плясать на месте, выгибая шею и разбрасывая задними ногами комья грязи. Бобров прыгал около него на одной ноге, стараясь вдеть ногу в стремя.

– Пусти, пусти поводья, Митрофан! – крикнул он, поймав, наконец, стремя, и в тот же момент, перебросив ногу через круп, очутился в седле.

Почувствовав шенкеля всадника, Фарватер тотчас же смирился и, переменяв несколько раз ногу, фыркая и мотая головой, взял от ворот широким, упругим галопом...

Быстрая езда, холодный ветер, свистевший в уши, свежий запах осеннего, слегка мокрого поля очень скоро успокоили и оживили вялые нервы Боброва. Кроме того, каждый раз, отправляясь к Зиненкам, он испытывал приятный и тревожный подъем духа.

Семья Зиненок состояла из отца, матери и пятерых дочерей. Отец служил на заводе и заведовал складом. Этот ленивый и добродушный с виду гигант был в сущности очень пронырливым и каверзным господином. Он принадлежал к ч делу тех людей, которые под видом высказывания всякому в глаза «истинной правды» грубо, но приятно льстят начальству, откровенно ябедничают на сослуживцев, а с подчиненными обращаются самым безобразно-деспотическим образом. Он спорил из-за всякого пустяка, не слушая возражений и хрипло крича; любил поест и питал слабость к хоровому малорусскому пению, причем неизменно фальшивил. Он, незаметно для самого себя, находился под башмаком у своей жены – женщины маленького роста, болезненной и жеманной, с крошечными серыми глазками, до смешного близко поставленными к переносью.

Дочерей звали: Мака, Бета, Шурочка, Нина и Кася.

Каждой из них в семье было отведено свое амплуа. Мака, девица с рыбьим профилем, пользовалась репутацией ангельского характера. «Уж эта Мака – сама простота», говорили про нее родители, когда она во время прогулок и вечеров стушевывалась на задний план в интересах младших сестер (Маке уже перевалило за тридцать).

Бета считалась умницей, носила пенсне и, как говорили, хотела даже когда-то поступить на курсы. Она держала голову склоненной набок и вниз, как старая пристыженная, и ходила ныряющей походкой, то подымаясь, то опускаясь при каждом шаге. К новым гостям она приставала со спорами о том, что женщины лучше и честнее мужчин, или с наивной игривостью просила: «Вы такой проницательный... ну вот, определите мой характер». Когда разговор переходил на одну из классических домашних тем: «Кто выше: Лермонтов или Пушкин?» или: «Способствует ли природа смягчению нравов?» – Бету выдвигали вперед, как боевого слона.

Третья дочь, Шурочка, избрала специальностью игру в дурачки со всеми холостыми инженерами по очереди. Как только узнавала она, что ее старый партнер собирается жениться, она, подавляя огорчение и досаду, избирала себе нового. Конечно, игра велась с милыми шутками и маленьким пленительным плутовством, причем партнера называли «противным» и били по рукам картами.

Нина считалась в семье общей любимицей, избалованным, но прелестным ребенком. Она была выродком среди своих сестер с их массивными фигурами и грубоватыми, вульгарными лицами. Может быть, одна только madame Зиненко могла бы удовлетворительно объяснить, откуда у Ниночки взялась эта нежная, хрупкая фигурка, эти почти аристократические руки, хорошенькое смугловатое личико, все в родинках, маленькие розовые уши и пышные, тонкие, слегка выющиеся волосы. На нее родители возлагали большие надежды, и ей поэтому разрешалось все: и объедаться конфетами, и мило картавить, и даже одеваться лучше сестер.

Самой младшей, Касе, исполнилось недавно четырнадцать лет, но этот феноменальный ребенок перерос на целую голову свою мать, далеко превзойдя старших сестер могучей рельефностью форм. Ее фигура давно уже вызывала пристальные взоры заводской молодежи, совершенно лишенной, по отдаленности от города, женского общества, и Кася принимала эти взоры с наивным бесстыдством рано созревшей девочки.

Это разделение семейных прелестей было хорошо известно на заводе, и один шутник сказал как-то, что если уж жениться на Зиненках, то непременно на всех пятерых сразу. Инженеры и студенты-практиканты глядели на дом Зиненко, как на гостиницу, толклись там с утра до ночи, много ели, еще больше пили, но с удивительной ловкостью избегали брачных сетей.

В этой семье Боброва недолго любили. Мещанские вкусы madame Зиненко, стремившейся все подвести под линию пошлой и благополучно скучного провинциального приличия, оскорблялись поведением Андрея Ильича. Его желчные остроты, когда он бывал в

духе, встречались с широко раскрытыми глазами, и, наоборот, когда он молчал целыми вечерами, вследствие усталости и раздражения, его подозревали в скрытности, в гордости, в молчаливом иронизировании, даже – о! это было всего ужаснее! – даже подозревали, что он «пишет в журналы повести и собирает для них типы».

Бобров чувствовал эту глухую вражду, выражавшуюся в небрежности за столом, в удивленном пожимании плечей матери семейства, но все-таки продолжал бывать у Зиненок. Любил ли он Нину? На это он сам не мог бы ответить. Когда он трое или четверо суток не бывал в их доме, воспоминание о ней заставляло его сердце биться со сладкой и тревожной грустью. Он представлял себе ее стройную, грациозную фигурку, улыбку ее томных, окруженных тенью глаз и запах ее тела, напоминавший ему почему-то запах молодых клейких почек тополя.

Но стоило ему побывать у Зиненок три вечера подряд, как его начинало томить их общество, их фразы, – всегда одни и те же в одинаковых случаях, – шаблонные и неестественные выражения их лиц. Между пятью «барышнями» и «ухаживавшими» за ними «кавалерами» (слова зиненковского обихода) раз навсегда установились пошло-игривые отношения. И те и другие делали вид, будто они составляют два враждующих лагеря. То и дело один из кавалеров, шутя, похищал у барышни какую-нибудь вещь и уверял, что не отдаст ее; барышни дулись, шептались между собой, называли шутника «противным» и все время хохотали деревянным, громким, неприятным хохотом. И это повторялось ежедневно, сегодня совершенно в тех же словах и с теми же жестами, как вчера. Бобров возвращался от Зиненок с головной болью и с нервами, утомленными их провинциальным ломаньем.

Таким образом, в душе Боброва чередовалась тоска по Нине, по нервному пожатию ее всегда горячих рук, с отвращением к скуке и манерности ее семьи. Бывали минуты, когда он уже совершенно готовился сделать ей предложение. Тогда его не остановило бы даже сознание, что она, с ее кокетством дурного тона и душевной пустотой, устроит из семейной жизни ад, что он и она думают и говорят на разных языках. Но он не решался и молчал.

Теперь, подъезжая к Шепетовке, он уже заранее знал, что и как там будут говорить в том или другом случае, даже представлял себе выражение лиц. Он знал, что когда с их террасы увидят его верхом на лошади, то сначала между барышнями, всегда находящимися в ожидании «приятных кавалеров», подымется длинный спор о том, кто это едет. Когда же он приблизится, то угадавшая начнет подпрыгивать, бить в ладоши, прищелкивать языком и задорно выкрикивать: «А что? А что? Я угадала, я угадала!» Вслед за тем она побежит к Анне Афанасьевне: «Мама, Бобров едет, я первая угадала!» А мама, лениво перетирая чайные чашки, обратится к Нине – непременно к Нине – таким тоном, как будто бы она передает что-то смешное и неожиданное: «Ниночка, знаешь, Бобров едет». И уже после этого все они вместе чрезвычайно и очень громко изумятся, увидя входящего Андрея Ильича.

IV

Фарватер шел, звучно фыркая и попрашивая поводьев. Вдали показался дом Шепетовской экономии. Из густой зелени сиреней и акаций едва виднелись его белые стены и красная крыша. Под горой небольшой пруд выпукло подымался из окружавших его зеленых берегов.

На крыльце стояла женская фигура. Бобров издали узнал в ней Нину по ярко-желтой кофточке, так красиво оттенявшей смуглый цвет ее лица, и тотчас же, подтянув Фарватеру поводья, выпрямился и высвободил носки ног, далеко залезшие в стремена.

– Вы опять на своем сокровище приехали? Ну вот, просто видеть не могу этого уroda! – крикнула с крыльца Нина веселым и капризным голосом избалованного ребенка. У нее уже давно вошло в привычку дразнить Боброва его лошадью, к которой он был так привязан. Вообще в доме Зиненок вечно кого-нибудь и чем-нибудь дразнили.

Бросив поводья подбежавшему заводскому конюху, Бобров похлопал крутую,

потемневшую от пота шею лошади и вошел вслед за Ниной в гостиную. Анна Афанасьевна, сидевшая за самоваром, сделала вид, будто необычайно поражена приездом Боброва.

– А-а-а! Андрей Ильич! Наконец-то вы к нам пожаловали!.. – воскликнула она нараспев.

И ткнув ему руку прямо в губы, когда он здоровался с ней, она своим громким носовым голосом спросила:

– Чаю? Молока? Яблоков? Говорите, чего хотите.

– Merci, Анна Афанасьевна.

– Merci – oui, ou merci – non? ²

Подобные французские фразы были неизменны в семье Зиненко. Бобров отказался от всего.

– Ну, так идите на террасу, там молодежь затеяла какие-то фанты, что ли, – милостиво разрешила madame Зиненко.

Когда он вышел на балкон, все четыре барышни разом, совершенно тем же тоном и так же в нос, как их маменька, воскликнули:

– А-а-а! Андрей Ильич! Вот уж кого давно-то не было видно! Чего вам принести? Чаю? Яблоков? Молока? Не хотите? Нет, правда? А может быть, хотите? Ну, в таком случае садитесь здесь и принимайте участие.

Играли в «барыня прислала сто рублей», в «мнения» и еще в какую-то игру, которую шепелявая Кася называла «играть в пошуду». Из гостей были: три студента-практиканта, которые все время выпячивали грудь и принимали пластические позы, выставив вперед ногу и заложив руку в задний карман сюртука; был техник Миллер, отличавшийся красотой, глупостью и чудесным баритоном, и, наконец, какой-то молчаливый господин в сером, не обращавший на себя ничьего внимания.

Игра не ладилась. Мужчины исполняли свои фанты со снисходительным и скучающим видом; девицы вовсе от них отказывались, перешептывались и напряженно хохотали.

Смеркалось. Из-за крыш ближней деревни медленно показывалась огромная красная луна.

– Дети, идите в комнаты! – крикнула из столовой Анна Афанасьевна. – Попросите Миллера, чтобы он нам спел что-нибудь.

Через минуту голоса барышень уже слышались в комнатах.

– Нам было очень весело, – щебетали они вокруг матери, – мы так смеялись, так смеялись...

На балконе остались только Нина и Бобров. Она сидела на перилах, обхвативши столб левой рукой и прижавшись к нему в бессознательно грациозной позе. Бобров поместился на низкой садовой скамеечке у самых ее ног и снизу вверх, заглядывая ей в лицо, видел нежные очертания ее шеи и подбородка. – Ну, расскажите же что-нибудь интересное, Андрей Ильич, – нетерпеливо приказала Нина.

– Право, я не знаю, что бы вам рассказать, – возразил Бобров. – Ужасно трудно говорить по заказу. Я и то уж думаю: нет ли такого разговорного сборника, на разные темы...

– Фу-у! Какой вы ску-учный, – протянула Нина. – Скажите, когда вы бываете в духе?

– А вы мне скажите, почему вы так боитесь молчания? Чуть разговор немножко иссяк, вам уже и не по себе... А разве дурно разговаривать молча?

– «Мы будем с тобой молчали-ивы...» – пропела насмешливо Нина.

– Конечно, будем молчаливы. Посмотрите: небо ясное, луна рыжая, большущая, на балконе так тихо... Чего же еще?..

– «И эта глупая луна на этом глупом небосклоне», – продекларировала Нина. А ргoрoс ³, вы слышали, что Зиночка Маркова выходит замуж за Протопопова? Выходит-таки!

² Спасибо – да, или спасибо – нет? (франц.).

³ Кстати (франц.).

Удивительный человек этот Протопопов, – Она пожала плечами. – Три раза ему Зина отказывала, и он все-таки не мог успокоиться, сделал в четвертый раз предложение. И пускай на себя пеняет. Она его, может быть, будет уважать, но любить – никогда!

Этих слов было достаточно, чтобы расшевелить желчь в душе Боброва. Его всегда выводил из себя узкий, мещанский словарь Зиненок, с выражениями вроде: «Она его любит, но не уважает», «Она его уважает, но не любит». Этими словами в их понятиях исчерпывались самые сложные отношения между женщиной и женщиной, точно так же, как для определения нравственных, умственных и физических особенностей любой личности у них существовало только два выражения: «брюнет» и «блондин».

И Бобров, из смутного желания разбередить свою злобу, спросил;

– Что же такое представляет собою этот Протопопов?

– Протопопов? – задумалась на секунду Нина. – Он... как бы вам сказать... довольно высокого роста... шатен!..

– И больше ничего?

– Чего же еще? Ах, да: служит в акцизе...

– И только? Да неужели, Нина Григорьевна, у вас для характеристики человека не найдется ничего, кроме того, что он шатен и служит в акцизе! Подумайте: сколько в жизни встречается нам интересных, талантливых и умных людей. Неужели все это только «шатены» и «акцизные чиновники»? Посмотрите, с каким жадным любопытством наблюдают жизнь крестьянские дети и как они метки в своих суждениях. А вы, умная и чуткая девушка, проходите мимо всего равнодушно, потому что у вас есть в запасе десятков шаблонных, комнатных фраз. Я знаю, если кто-нибудь упомянет в разговоре про луну, вы сейчас же вставите: «Как эта глупая луна», и так далее. Если я расскажу, положим, какой-нибудь выходящий из ряда обыкновенных случай, я наперед знаю, что вы заметите: «Свежо предание, а верится с трудом». И так во всем, во всем... Поверьте мне, ради бога, что все самобытное, своеобразное...

– Я вас прошу не читать мне нравоучений! – отозвалась резко Нина.

Он замолчал с ощущением горечи во рту, и они оба сидели минут пять тихо и не шевелясь. Вдруг из гостиной послышались звучные аккорды, и немного тронутый, но полный глубокого выражения голос Миллера запел:

Средь шумного бала, случайно,
В тревоге мирской суеты,
Тебя я увидел, но тайна
Твои покрывала черты.

Озлобленное настроение Боброва быстро улеглось, и он жалел теперь, что огорчил Нину. «Для чего вздумал я требовать от ее наивного, свежего, детского ума оригинальной смелости? – думал он. – Ведь она, как птичка: щебечет первое, что ей приходит в голову, и, почем знать, может быть, это щебетанье даже гораздо лучше, чем разговоры об эмансипации, и о Ницше, и о декадентах?»

– Нина Григорьевна, не сердитесь на меня. Я увлекся и наговорил глупостей, – сказал он вполголоса.

Нина молчала, отвернувшись от него и глядя на восходившую луну. Он отыскал в темноте ее свесившуюся руку и, нежно пожав ее, прошептал:

– Нина Григорьевна... Пожалуйста...

Нина вдруг быстро повернулась к нему и, ответив на его пожатие быстрым, нервным пожатием, воскликнула тоном прощения и упрека:

– Злючка! Всегда вы меня обижаете... пользуетесь тем, что я на вас не умею сердиться!..

И, оттолкнув его внезапно задрожавшую руку, почти вырвавшись от него, она перебежала балкон и скрылась в дверях.

...И в грезах неведомых сплю...
Люблю ли тебя – я не знаю,
Но кажется мне, что люблю... –

пел со страстным и тоскливым выражением Миллер.

«Но кажется мне, что люблю!» – повторил взволнованным шепотом Бобров, глубоко переводя дух и прижимая руку к забившемуся сердцу.

«Зачем же, – растроганно думал он, – утомляю я себя бесплодными мечтами о каком-то неведомом, возвышенном счастье, когда здесь, около меня, – простое, но глубокое счастье? Чего же еще нужно от женщины, от жены, если в ней столько нежности, кротости, изящества и внимания? Мы, бедные, нервные, больные люди, не умеем брать просто от жизни ее радостей, мы их нарочно отравляем ядом нашей неутомимой потребности копаться в каждом чувстве, в каждом своем и чужом помышлении... Тихая ночь, близость любимой девушки, милые, незатейливые речи, минутная вспышка гнева и потом внезапная ласка – господи! Разве не в этом вся прелесть существования?»

Он вошел в гостиную повеселевший, бодрый, почти торжествующий. Глаза его встретились с глазами Нины, и в ее долгом взоре он прочел нежный ответ на свои мысли. «Она будет моей женой», – подумал Бобров, ощущая в душе спокойную радость.

Разговор шел о Квашнине. Анна Афанасьевна, наполняя своим уверенным голосом всю комнату, говорила, что она думает завтра тоже повести «своих девочек» на вокзал.

– Очень может быть, что Василий Терентьевич захочет сделать нам визит. По крайней мере о его приезде мне еще за месяц писала племянница мужа моей двоюродной сестры – Лиза Белоконская...

– Это, кажется, та Белоконская, брат которой женат на княжне Муховецкой? – покорно вставил заученную реплику господин Зиненко.

– Ну да, та самая, – снисходительно кивнула в его сторону головой Анна Афанасьевна. – Она еще приходится дальней родней по бабушке Стремоуховым, которых ты знаешь. И вот Лиза Белоконская писала мне, что встретила в одном обществе с Василием Терентьевичем и рекомендовала ему побывать у нас, если ему вообще вздумается ехать когда-нибудь на завод.

– Сумеет ли мы принять, Нюся? – спросил озабоченно Зиненко.

– Как ты смешно говоришь! Мы сделаем, что можем. Ведь уж во всяком случае мы не удивим ничем человека, который имеет триста тысяч годового дохода.

– Господи! Триста тысяч! – простонал Зиненко. – Просто страшно подумать.

– Триста тысяч! – вздохнула, точно эхо, Нина.

– Триста тысяч! – воскликнули восторженно хором девицы.

– Да, и все это он проживает до копейки, – сказала Анна Афанасьевна. Затем, отвечая на невысказанную мысль дочерей, она прибавила: – Женатый человек. Только, говорят, очень неудачно женился. Его жена какая-то бесцветная личность и совсем не представительна. Что ни говорите, а жена должна быть вывеской в делах мужа.

– Триста тысяч! – повторила еще раз, точно в бреду, Нина. – Чего только на эти деньги не сделаешь!..

Анна Афанасьевна провела рукой по ее пышным волосам.

– Вот бы тебе такого мужа, деточка. А?

Эти триста тысяч чужого годового дохода точно наэлектризовали все общество. С блестящими глазами и разгоревшимися лицами рассказывались и слушались анекдоты о жизни миллионеров, рассказы о баснословных меню обедов, о великолепных лошадях, о балах и исторически безумных тратах денег.

Сердце Боброва похолодело и до боли сжалось. Он тихонько отыскал свою шляпу и

осторожно вышел на крыльцо. Его ухода, впрочем, и так никто бы не заметил.

И когда он крупную рысью ехал домой и представил себе томные, мечтательные глаза Нины, шептавшей почти в забытье: «Триста тысяч!» – ему вдруг припомнился утренний анекдот Свежевского.

– Эта... тоже сумеет себя продать! – прошептал он, судорожно стиснув зубы и с бешенством ударив Фарватера хлыстом по шее.

V

Подъезжая к своей квартире, Бобров заметил свет в окнах. «Должно быть, без меня приехал доктор и теперь валяется на диване в ожидании моего приезда», – подумал он, сдерживая взмыленную лошадь. В теперешнем настроении Боброва доктор Гольдберг был единственным человеком, присутствие которого он мог перенести без болезненного раздражения.

Он любил искренно этого беспечного, кроткого еврея за его разносторонний ум, юношескую живость характера и добродушную страсть к спорам отвлеченного свойства. Какой бы вопрос ни затрогивал Бобров, доктор Гольдберг возражал ему с одинаковым интересом к делу и с неизменной горячностью. И хотя между обоими в их бесконечных спорах до сих пор возникали только противоречия, тем не менее они скучали друг без друга и виделись чуть не ежедневно.

Доктор действительно лежал на диване, закинув ноги на его спинку, и читал какую-то брошюру, держа ее вплотную у своих близоруких глаз. Быстро скользнув взглядом по корешку, Бобров узнал «Учебный курс металлургии» Мевюса и улыбнулся. Он хорошо знал привычку доктора читать с одинаковым увлечением, и непременно из середины, все, что только попадалось ему под руку.

– А я без вас распорядился чайком, – сказал доктор, отбросив в сторону книгу и глядя поверх очков на Боброва. – Ну, как попрыгиваете, государь мой Андрей Ильич? У-у, да какой же вы сердитый. Что? Опять веселая меланхолия?

– Ах, доктор, скверно на свете жить, – сказал устало Бобров.

– Отчего же так, голубчик?

– Да так... вообще... все скверно. Ну как, доктор, ваша больница?

– Наша больница ничего... живет. Сегодня очень интересный хирургический случай был. Ей-богу, и смешно и трогательно.

Представьте себе, приходит на утренний осмотр парень, из масальских каменщиков. Эти масальские ребята, какого ни возьми, все, как на подбор, богатыри. «Что тебе?» спрашиваю. «Да вот, господин дохтур, резал я хлеб для артели, так палец маненечко попортил, руду никак не уймешь». Осмотрел я его руку: так себе, царапинка, пустяки, но нагноилась немного; я приказал фельдшеру положить пластырь. Только вижу, парень мой не уходит. «Ну, чего тебе еще надо? Заклеили тебе руку, и ступай». – «Это верно, говорит, заклеили, дай бог тебе здоровья, а только вот што, этго башка у меня трешшыть, так думаю, заодно и напротив башки чего-нибудь дашь». – «Что же у тебя с башкой? Треснул кто-нибудь, верно?» Парень так и обрадовался, загоготал. «Есть, говорит, тот грех. Опомнясь, на Спаса (это, значит, дня три тому назад), загуляли мы артелью да вина выпили ведра полтора, ну, ребята и зачали баловать промеж себя... Ну, и я тоже. А опосля... в драке-то нешто разберешься?... ка-ак он меня зубилом саданул по балде... починил, стало быть... Сначала-то оно ничего было, не больно, а вот теперь трешшыть башка-то». Стал я осматривать «балду», и что же вы думаете? – прямо в ужас пришел! Череп проломлен насквозь, дыра с пятак медный будет величиною, и обломки кости в мозг врезались... Теперь лежит в больнице без сознания. Изумительный, я вам скажу, народец: младенцы и герои в одно и то же время. Ей-богу, я не шутя думаю, что только русский терпеливый мужик и вынесет такую починку балды. Другой, не сходя с места, испустил бы дух. И потом, какое наивное незлобие: «В драке нешто разберешь?.. « Черт знает что такое!

Бобров ходил взад и вперед по комнате, щелкал хлыстом по голенищам высоких сапог и рассеянно слушал доктора. Горечь, осевшая ему на душу еще у Зиненок, до сих пор не могла успокоиться.

Доктор помолчал немного и, видя, что его собеседник не расположен к разговору, сказал с участием:

– Знаете что, Андрей Ильич? Попробуйте-ка на минуточку лечь спать да хватим на ночь ложечку-другую брома. Оно полезно в вашем настроении, а вреда все равно никакого не будет...

Они оба легли в одной комнате: Бобров на кровати, доктор на том же диване. Но и тому и другому не спалось. Гольдберг долго слушал в темноте, как ворочался с боку на бок и вздыхал Бобров, и, наконец, заговорил первый:

– Ну, что вы, голубчик? Ну, что терзаетесь? Уж говорите лучше прямо, что такое там в вас засело? Все легче будет. Чай, все-таки не чужой я вам человек, не из праздного любопытства спрашиваю.

Эти простые слова тронули Боброва. Хотя его и связывали с доктором почти дружеские отношения, однако ни один из них до сих пор ни словом не подтвердил этого вслух: оба были люди чуткие и боялись колючего стыда взаимных признаний. Доктор первый открыл свое сердце. Ночная темнота и жалость к Андрею Ильичу помогли этому.

– Все мне тяжело и гадко. Осип Осипович, – отозвался тихо Бобров. – Первое, мне гадко то, что я служу на заводе и получаю за это большие деньги, а мне это заводское дело противно и противно! Я считаю себя честным человеком и потому прямо себя спрашиваю: «Что ты делаешь? Кому ты приносишь пользу?» Я начинаю разбираться в этих вопросах и вижу, что благодаря моим трудам сотня французских лавочников-рантье и десятков ловких русских пройдох со временем положат в карман миллионы. А другой цели, другого смысла нет в том труде, на подготовку к которому я убил лучшую половину жизни!..

– Ну, уж это даже смешно, Андрей Ильич, – возразил доктор, повернувшись в темноте лицом к Боброву. – Вы требуете, чтобы какие-то буржуи прониклись интересами гуманности. С тех пор, голубчик, как мир стоит, все вперед движется брюхом, иначе не было и не будет. Но суть-то в том, что вам наплевать на буржуев, потому что вы гораздо выше их. Неужели с вас не довольно мужественного и гордого сознания, что вы толкаете вперед, выражаясь языком передовых статей, «колесницу прогресса»? Черт возьми! Акции пароходных обществ приносят колоссальные дивиденды, но разве это мешает Фультону считаться благодетелем человечества?

– Ах, доктор, доктор! – Бобров досадливо поморщился. – Вы не были, кажется, сегодня у Зиненок, а вашими устами вдруг заговорила их житейская мудрость. Слава богу, мне не придется ходить далеко за возражениями, потому что я сейчас разобью вас вашей же возлюбленной теорией.

– То есть какой это теорией?.. Позвольте... я что-то не помню никакой теории... право, голубчик, не помню... забыл что-то...

– Забыли? А кто здесь же, на этом самом диване, с пеной у рта кричал, что мы, инженеры и изобретатели, своими открытиями ускоряем пульс общественной жизни до горячечной скорости? Кто сравнивал эту жизнь с состоянием животного, заключенного в банку с кислородом? О, я отлично помню, какой страшный перечень детей двадцатого века, неврастеников, сумасшедших, переутомленных, самоубийц, кидали вы в глаза этим самым благодетелям рода человеческого. Телеграф, телефон, стодвадцативерстные поезда, говорили вы, сократили расстояние до *minimum'a*⁴, – уничтожили его... Время вздорожало до того, что скоро начнут ночь превращать в день, ибо уже чувствуется потребность в такой удвоенной жизни. Сделка, требовавшая раньше целых месяцев, теперь оканчивается в пять минут. Но уж и эта чертовская скорость не удовлетворяет нашему нетерпению... Скоро мы

⁴ Минимума (лат.).

будем видеть друг друга по проволоке на расстоянии сотен и тысяч верст!.. А между тем всего пятьдесят лет тому назад наши предки, собираясь из деревни в губернию, не спеша служили молебен и пускались з путь с запасом, достаточным для полярной экспедиции... И мы несемся сломя голову вперед и вперед, оглушенные грохотом и треском чудовищных машин, одуревшие от этой бешеной скачки, с раздраженными нервами, извращенными вкусами и тысячами новых болезней... Помните, доктор? Все это ваши собственные слова, поборник благодетельного прогресса!

Доктор, уже несколько раз тщетно пытавшийся возразить, воспользовался минутной передышкой Боброва.

– Ну да, ну да, голубчик, все это я говорил, – заторопился он не совсем, однако, уверенно. – Я и теперь это утверждаю. Но надо же, голубчик, так сказать, приспособляться. Как же жить-то иначе? Во всякой профессии есть эти скользкие пунктики. Вот взять хоть нас, например, докторов... Вы думаете, у нас все это так ясно и хорошо, как в книжечке? Да ведь мы дальше хирургии ничего ровнешенько не знаем наверняка. Мы выдумываем новые лекарства и системы, но совершенно забываем, что из тысячи организмов нет двух, хоть сколько-нибудь похожих составом крови, деятельностью сердца, условиями наследственности и черт знает чем еще! Мы удалились от единого верного терапевтического пути – от медицины зверей и знахарок, мы наводнили фармакопею разными кокаинами, атропинами, фенацетинами, но мы упустили из виду, что если простому человеку дать чистой воды да уверить его хорошенько, что это сильное лекарство, то простой человек выздоровеет. А между тем в девяноста случаях из ста в нашей практике помогает только эта уверенность, внушаемая нашим профессиональным жреческим апломбом. Поверите ли? Один хороший врач, и в то же время умный и честный человек, признавался мне, что охотники лечат собак гораздо рациональнее, чем мы людей. Там одно средство – серный цвет, – вреда особенного он не принесет, а иногда все-таки и помогает... Не правда ли, голубчик, приятная картинка? А, однако, и мы делаем, что можем... Нельзя, мой дорогой, иначе: жизнь требует компромиссов... Иной раз хоть своим видом всезнающего авгура, а все-таки облегчишь страдания ближнего. И на том спасибо.

– Да, компромиссы-компромиссами, – возразил мрачным тоном Бобров, – а, однако, вы у масальского каменщика кости из черепа-то сегодня извлекли...

– Ах, голубчик, что значит один исправленный череп? Подумайте-ка, сколько ртов вы кормите и скольким рукам даете работу. Еще в истории Иловайского сказано, что «царь Борис, желая снискать расположение народных масс, предпринимал в голодные годы постройку общественных зданий». Что-то в этом роде... Вот вы и посчитайте, какую колоссальную сумму пользы вы...

При последних словах Боброва точно подбросило на кровати, и он быстро уселся на ней, свесив вниз голые ноги.

– Пользы?! – закричал он иступленно. – Вы мне говорите о пользе? В таком случае уж если подводить итоги пользе и вреду, то, пожалуйста, я вам приведу маленькую страничку из статистики. – И он начал мерным и резким тоном, как будто бы говорил с кафедры: – Давно известно, что работа в рудниках, шахтах, на металлических заводах и на больших фабриках сокращает жизнь рабочего приблизительно на целую четверть. Я не говорю уже о несчастных случаях или непосильном труде. Вам, как врачу, гораздо лучше моего известно, какой процент приходится на долю сифилиса, пьянства и чудовищных условий прозябания в этих проклятых бараках и землянках... Пойдите, доктор, прежде чем возражать, вспомните, много ли вы видели на фабриках рабочих старше сорока – сорока пяти лет? Я положительно не встречал. Иными словами, это значит, что рабочий отдает предпринимателю три месяца своей жизни в год, неделю – в месяц или, короче, шесть часов в день... Теперь слушайте дальше... У нас, при шести домнах, будет занято до тридцати тысяч человек, – царю Борису, верно, и не снились такие цифры! Тридцать тысяч человек, которые все вместе, так сказать, сжигают в сутки сто восемьдесят тысяч часов своей собственной жизни, то есть семь с половиной тысяч дней, то есть, наконец, сколько же это будет лет?

– Около двадцати лет, – подсказал после небольшого молчания доктор.

– Около двадцати лет в сутки! – закричал Бобров. – Двое суток работы пожирают целого человека. Черт возьми! Вы помните из библии, что какие-то там ассирияне или моавитяне приносили своим богам человеческие жертвы? Но ведь эти медные господа, Молох и Дагон, покраснели бы от стыда и от обиды перед теми цифрами, что я сейчас привел...

Эта своеобразная математика только что пришла в голову Боброву (он, как и многие очень впечатлительные люди, находил новые мысли только среди разговора). Тем не менее и его самого и Гольдберга поразила оригинальность вычисления.

– Черт возьми, вы меня ошеломили, – отозвался с дивана доктор. – Хотя цифры могут быть и не совсем точными...

– А известна ли вам, – продолжал с еще большей горячностью Бобров, – известна ли вам другая статистическая таблица, по которой вы с чертовской точностью можете вычислить, во сколько человеческих жизней обойдется каждый шаг вперед вашей дьявольской колесницы, каждое изобретение какой-нибудь поганой вейлки, сеялки или рельсопрокатки? Хороша, нечего сказать, ваша цивилизация, если ее плоды исчисляются цифрами, где в виде единиц стоит железная машина, а в виде нулей – целый ряд человеческих существований!

– Но, послушайте, голубчик вы мой, – возразил доктор, сбитый с толку пылкостью Боброва, – тогда, по-вашему, лучше будет возвратиться к первобытному труду, что ли? Зачем же вы все черные стороны берете? Ведь вот у нас, несмотря на вашу математику, и школа есть при заводе, и церковь, и больница хорошая, и общество дешевого кредита для рабочих...

Бобров совсем вскочил с постели и босой забегал по ^ комнате.

– И больница ваша и школа-все это пустяки! Цаца детская для таких гуманистов, как вы, – уступка общественному мнению... Если хотите, я вам скажу, как мы на самом деле смотрим... Вы знаете, что такое финиш?

– Финиш? Это что-то лошадиное, кажется? Что-то такое на скачках?

– Да, на скачках. Финишем называются последние сто сажен перед верстовым столбом. Лошадь должна их проскакать с наибольшей скоростью, – за столбом она может хоть издохнуть. Финиш – это полнейшее, максимальное напряжение сил, и, чтобы выжать из лошади финиш, ее истязают хлыстом до крови... Так вот и мы. А когда финиш выжат и кляча упала с переломленной спиной и разбитыми ногами, – к черту ее, она больше никуда не годится! Вот тогда и извольте утешать павшую на финише клячу вашими школами да больницами... Вы видели ли когда-нибудь, доктор, литейное и прокатное дело? Если видали, то вы должны знать, что оно требует адской крепости нервов, стальных мускулов и ловкости циркового артиста... Вы должны знать, что каждый мастер несколько раз в день избегает смертельной опасности только благодаря удивительному присутствию духа... И сколько за этот труд рабочий получает, хотите вы знать?

– А все-таки, пока стоит завод, труд этого рабочего обеспечен, – сказал упрямо Гольдберг.

– Доктор, не говорите наивных вещей! – воскликнул Бобров, садясь на подоконник. – Теперь рабочий более чем когда-либо зависит от рыночного спроса, от биржевой игры, от разных закулисных интриг. Каждое громадное предприятие, прежде чем оно пойдет в ход, насчитывает трех или четырех покойников-патронов. Вам известно, как создалось наше общество? Его основала за наличные деньги небольшая компания капиталистов. Дело предполагалось устроить сначала в небольших размерах. Но целая банда инженеров, директоров и подрядчиков ухнула капитал так скоро, что предприниматели не успели и оглянуться. Возводились громадные постройки, которые потом оказывались негодными... Капитальные здания шли, как у нас говорят, «на мясо», то есть рвались динамитом. И когда в конце концов предприятие пошло по десять копеек за рубль, только тогда стало понятно, что вся эта сволочь действовала по заранее обдуманной системе и получала за свой подлый образ действий определенное жалованье от другой, более богатой и ловкой компании.

Теперь дело идет в гораздо больших размерах, но мне хорошо известно, что при крахе первого покойника восемьсот рабочих не получили двухмесячного жалования. Вот вам и обеспеченный труд! Да стоит только акциям упасть на бирже, как это сейчас же отражается на заработной плате. А вам, я думаю, известно, как поднимаются и падают на бирже акции? Для этого нужно мне приехать в Петербург – шепнуть маклеру, что вот, мол, хочу я продать тысяч на триста акций, «только, мол, ради бога, это между нами, уж лучше я вам заплачу хороший куртаж, только молчите...» Потом другому и третьему шепнуть то же самое по секрету, и акции мгновенно падают на несколько десятков рублей. И чем больше секрет, тем скорее и вернее упадут акции... Хороша обеспеченность!..

Сильным движением руки Бобров разом распахнул окно. В комнату ворвался холодный воздух.

– Посмотрите, посмотрите сюда, доктор! – крикнул Андрей Ильич, показывая пальцем по направлению завода.

Гольдберг приподнялся на локте и устремил глаза в ночную темноту, глядевшую из окна. На всем громадном пространстве, расстилавшемся вдаль, рдели разбросанные в бесчисленном множестве кучи раскаленного известняка, на поверхности которых то и дело вспыхивали голубоватые и зеленые серные огни... Это горели известковые печи⁵. Над заводом стояло огромное красное колеблющееся зарево. На его кровавом фоне стройно и четко рисовались темные верхушки высоких труб, между тем как нижние части их расплывались в сером тумане, шедшем от земли. Разверстые пасти этих великанов безостановочно изрыгали густые клубы дыма, которые смешивались в одну сплошную, хаотическую, медленно ползущую на восток тучу, местами белую, как комья ваты, местами грязно-серую, местами желтоватого цвета железной ржавчины. Над тонкими, длинными дымоотводами, придавая им вид исполинских факелов, трепетали и метались яркие снопы горящего газа. От их неверного отблеска нависшая над заводом дымная туча, то вспыхивая, то потухая, принимала странные и грозные оттенки. Время от времени, когда, по резкому звону сигнального молотка, опускался вниз колпак доменной печи, из ее устья с ревом, подобным отдаленному грому, вырывалась к самому небу целая буря пламени и копоти. Тогда на несколько мгновений весь завод резко и страшно выступал из мрака, а тесный ряд черных круглых кауперов казался башнями легендарного железного замка. Огни коксовых печей тянулись длинными правильными рядами. Иногда один из них вдруг вспыхивал и разгорался, точно огромный красный глаз. Электрические огни примешивали к пурпуровому свету раскаленного железа свой голубоватый мертвый блеск... Несмолкаемый лязг и грохот железа неся оттуда.

От зарева заводских огней лицо Боброва приняло в темноте зловещий медный оттенок, в глазах блестели яркие красные блики, спутавшиеся волосы упали беспорядочно на лоб. И голос его звучал пронзительно и злобно.

– Вот он – Молох, требующий теплой человеческой крови! – кричал Бобров, простирая в окно свою тонкую руку. – О, конечно, здесь прогресс, машинный труд, успехи культуры... Но подумайте же, ради бога, – двадцать лет! Двадцать лет человеческой жизни в сутки!.. Клянусь вам, бывают минуты, когда я чувствую себя убийцей!.. «Господи! Да ведь он – сумасшедший», – подумал доктор, у которого по спине забегали мурашки, и он принялся успокаивать Боброва.

– Голубчик, Андрей Ильич, да оставьте же, мой милый, ну что за охота из-за глупостей расстраиваться. Смотрите, окно раскрыто, а на дворе сырость... Ложитесь, да нате-ка вам бромку. «Маниак, совершенный маниак», – думал он, охваченный одновременно жалостью и страхом.

Бобров слабо сопротивлялся, обессиленный только что миновавшей вспышкой. Но

⁵ Известковые печи устраняются таким образом: складывается из известкового камня холм величиной с человеческий рост и разжигается дровами или каменным углем. Этот холм раскаляется около недели, до тех пор пока из камня не образуется негашеная известь. (Прим. автора).

когда он лег в постель, то внезапно разразился истерическими рыданиями. И долго доктор сидел возле него, глядя его по голове, как ребенка, и говоря ему первые попавшиеся ласковые, успокоительные слова.

VI

На другой день состоялась торжественная встреча Василия Терентьевича Квашнина на станции Иванково. Уж к одиннадцати часам все заводское управление съехалось туда. Кажется, никто не чувствовал себя спокойным. Директор – Сергей Валерьянович Шелковников – пил стакан за стаканом зельтерскую воду, поминутно вытаскивал часы и, не успев взглянуть на циферблат, тотчас же машинально прятал их в карман. Только это рассеянное движение и выдавало его беспокойство. Лицо же директора – красивое, холеное, самоуверенное лицо светского человека – оставалось неподвижным. Лишь весьма немногие знали, что Шелковников только официально, так сказать на бумаге, числился директором постройки. Всеми делами в сущности ворочал бельгийский инженер Андреа, полуполяк, полушвед по национальности, роли которого на заводе никак не могли понять непосвященные. Кабинеты обоих директоров были расположены рядом и соединены дверью. Шелковников не смел положить резолюции ни на одной важной бумаге, не справившись сначала с условным знаком, сделанным карандашом где-нибудь на уголке страницы рукою Андреа. В экстренных же случаях, исключавших возможность совещания, Шелковников принимал озабоченный вид и говорил просителю небрежным тоном:

– Извините... положительно не могу уделить вам ни минуты... завален по горло... Будьте добры изъяснить ваше дело господину Андреа, а он мне потом изложит его отдельной запиской.

Заслуги Андреа перед правлением были неисчислимы. Из его головы целиком вышел гениально-мошеннический проект разорения первой компании предпринимателей, и его же твердая, но незримая рука довела интригу до конца. Его проекты, отличавшиеся изумительной простотой и стройностью, считались в то же время последним словом горнозаводской науки. Он владел всеми европейскими языками и – редкое явление среди инженеров – обладал, кроме своей специальности, самыми разнообразными знаниями.

Изо всех собравшихся на станции только один этот человек, с чахоточной фигурой и лицом старой обезьяны, сохранял свою обычную невозмутимость. Он приехал позднее всех и теперь медленно ходил взад и вперед по платформе, засунув руки по локоть в карманы широких, обвисших брюк и пожевывая свою вечную сигару. Его светлые глаза, за которыми чувствовался большой ум ученого и сильная воля авантюриста, как и всегда, неподвижно и равнодушно глядели из-под опухших, усталых век.

Приезду семейства Зиненок никто не удивился. Их почему-то все давно привыкли считать неотъемлемой принадлежностью заводской жизни. Девицы внесли с собой в мрачную залу станции, где было и холодно и скучно, свое натянутое оживление и ненатуральный хохот. Их окружили утомившиеся долгим ожиданием инженеры помоложе. Девицы, тотчас же приняв обычное оборонительное положение, стали сыпать налево и направо милыми, но давно всем наскучившими наивностями. Среди своих суетившихся дочерей Анна Афанасьевна, маленькая, подвижная, суетливая, казалась беспокойной наседкой.

Бобров, усталый, почти больной после вчерашней вспышки, сидел одиноко в углу станционной залы и очень много курил. Когда вошло и с громким щебетанием расселось у круглого стола семейство Зиненок, Андрей Ильич испытал одновременно два весьма смутных чувства. С– одной стороны, ему стало стыдно за бестактный, как он думал, приезд этого семейства, стало стыдно жгучим, удручающим стыдом за другого. С другой стороны, он обрадовался, увидев Нину, раздурманенную быстрой ездой, с возбужденными, блестящими глазами, очень мило одетую и, как всегда это бывает, гораздо красивее, чем ее рисовало ему воображение. В его больной, издерганной душе вдруг зажглось нестерпимое желание

нежной, благоухающей девической любви, жажда привычной и успокоительной женской ласки.

Он искал случая подойти к Нине, но она все время была занята болтовней с двумя горными студентами, которые наперерыв старались ее рассмешить. И она смеялась, сверкая мелкими белыми зубами, более кокетливая и веселая, чем когда-либо. Однако два или три раза она встретилась глазами с Бобровым, и ему почудился в ее слегка приподнятых бровях молчаливый, но не враждебный вопрос.

На платформе раздался продолжительный звонок, возвещавший отход поезда с ближайшей станции. Между инженерами произошло смятение. Андрей Ильич наблюдал из своего угла с насмешкой на губах, как одна и та же трусливая мысль мгновенно овладела этими двадцатью с лишком человеками, как их лица вдруг стали серьезными и озабоченными, руки невольным быстрым движением прошлись по пуговицам сюртуков, по галстукам и фуражкам, глаза обратились в сторону звонка. Скоро в зале никого не осталось.

Андрей Ильич вышел на платформу. Барышни, покинутые занимавшими их мужчинами, беспомощно толпились около дверей, вокруг Анны Афанасьевны. Нина обернулась на пристальный, упорный взгляд Боброва и, точно угадывая его желание поговорить с нею наедине, пошла ему навстречу.

– Здравствуйте. Что вы такой бледный сегодня? Вы больны? – спросила она, крепко и нежно пожимая его руку и заглядывая ему в глаза серьезно и ласково. – Почему вы вчера так рано уехали и даже не хотели проститься? Рассердились на что-нибудь?

– И да и нет, – ответил Бобров улыбаясь. – Нет, – потому что я ведь не имею никакого права сердиться.

– Положим, всякий человек имеет право сердиться. Особенно, если знает, что его мнением дорожат. А почему же да?

– Потому что... Видите ли, Нина Григорьевна, – сказал Бобров, почувствовав внезапный прилив смелости. – Вчера, когда мы с вами сидели на балконе, – помните? – я благодаря вам пережил несколько чудных мгновений. И я понял, что вы, если бы захотели, то могли бы сделать меня самым счастливым человеком в мире... Ах, да что же я боюсь и медлю... Ведь вы знаете, вы догадались, ведь вы давно знаете, что я...

Он не договорил... Нахлынувшая на него смелость вдруг исчезла.

– Что вы... что такое? – переспросила Нина с притворным равнодушием, однако голосом, внезапно, против ее воли, задрожавшим, и опуская глаза в землю.

Она ждала признания в любви, которое всегда так сильно и приятно волнует сердца молодых девушек, все равно, отвечает ли их сердце взаимностью на это признание или нет. Ее щеки слегка побледнели.

– Не теперь... потом, когда-нибудь, – замялся Бобров. – Когда-нибудь, при другой обстановке я вам это скажу... Ради бога, не теперь, – добавил он умоляюще.

– Ну, хорошо. Все-таки почему же вы рассердились?

– Потому что после этих нескольких минут я вошел в столовую в самом, – ну, как бы это сказать, – в самом растроганном состоянии... И когда я вошел...

– То вас неприятно поразил разговор о доходах Квашнина? – догадалась Нина с той внезапной, инстинктивной пронизательностью, которая иногда осеняет даже самых недалеких женщин. – Да? Я угадала? – Она повернулась к нему и опять обдала его глубоким, ласкающим взором. – Ну, говорите откровенно. Вы ничего не должны скрывать от своего друга.

Когда-то, месяца три или четыре тому назад, во время катанья по реке большим обществом, Нина, возбужденная и разнеженная красотой теплой летней ночи, предложила Боброву свою дружбу на веки вечные, – он принял этот вызов очень серьезно и в продолжение целой недели называл ее своим другом, так же как и она его, И когда она говорила ему медленно и значительно, со своим обычным томным видом: «мой друг», то эти два коротеньких слова заставляли его сердце биться крепко и сладко. Теперь он вспомнил эту шутку и отвечал со вздохом:

– Хорошо, «мой друг», я вам буду говорить правду, хотя мне это немного тяжело. По отношению к вам я вечно нахожусь в какой-то мучительной двойственности. Бывают минуты в наших разговорах, когда вы одним словом, одним жестом, даже одним взглядом вдруг сделаете меня таким счастливым!.. Ах, разве можно передать такие ощущения словами?.. Скажите только, замечали ли вы это?

– Замечала, – отозвалась она почти шепотом и низко, с лукавой дрожью в ресницах, опустила глаза.

– А потом... потом вдруг, тотчас же, на моих глазах вы превращались в провинциальную барышню, с шаблонным обиходом фраз и с какою-то заученной манерностью во всех поступках... Не сердитесь на меня за откровенность... Если бы это не мучило меня так страшно, я не говорил бы...

– Я и это тоже заметила...

– Ну, вот видите... Я ведь всегда был уверен, что у вас отзывчивая, нежная и чуткая душа. Отчего же вы не хотите всегда быть такой, как теперь?

Она опять повернулась к Боброву и даже сделала рукой такое движение, как будто бы хотела прикоснуться к его руке. Они в это время ходили взад и вперед по свободному концу платформы.

– Вы не хотели никогда меня понять, Андрей Ильич, сказала она с упреком. – Вы нервны и нетерпеливы. Вы преувеличиваете все, что во мне есть хорошего, но зато не прощаете мне того, что я не могу же быть иной в той среде, где я живу. Это было бы смешно, это внесло бы в нашу семью несогласие. Я слишком слаба и, надо правду сказать, слишком ничтожна для борьбы и для самостоятельности... Я иду туда, куда идут все, гляжу на вещи и сужу о них, как все. И вы не думайте, чтобы я не сознавала своей обыденности... Но я с другими не чувствую ее тяжести, а с вами... С вами я всякую меру теряю, потому что... – она запнулась, – ну, да все равно... потому что вы совсем другой, потому что такого, как вы, человека я никогда еще в жизни не встречала.

Ей казалось, что она говорит искренно. Бодрящая свежесть осеннего воздуха, вокзальная суета, сознание своей красоты, удовольствие чувствовать на себе влюбленный взгляд Боброва – все это наэлектризовало ее до того состояния, в котором истеричные натуры лгут так вдохновенно, так пленительно и так незаметно для самих себя. С наслаждением любясь собой в новой роли девицы, жаждущей духовной поддержки, она чувствовала потребность говорить Боброву приятное.

– Я знаю, что вы меня считаете кокеткой... Пожалуйста, не оправдывайтесь... И я согласна, я даю повод так думать... Например, я смеюсь и болтаю часто с Миллером. Но если бы вы знали, как мне противен этот вербный херувим! Или эти два студента... Красивый мужчина уже по тому одному неприятен, что вечно собой любитесь... Поверите ли, хотя это, может быть, и странно, но мне всегда были особенно симпатичны некрасивые мужчины.

При этой милой фразе, произнесенной самым нежным тоном, Бобров грустно вздохнул. Увы! Он уже не раз из женских уст слышал это жестокое утешение, в котором женщины никогда не отказывают своим некрасивым поклонникам.

– Значит, и я могу надеяться заслужить когда-нибудь вашу симпатию? – спросил он шутливым тоном, в котором, однако, явственно прозвучала горечь насмешки над самим собой.

Нина быстро спохватилась.

– Ну вот, какой вы, право. С вами нельзя разговаривать... Зачем вы напрашиваетесь на комплименты, милостивый государь? Стыдно!..

Она сама немного сконфузилась своей неловкости и, чтобы переменить разговор, спросила с игривой повелительностью:

– Ну-с, что же вы это собирались мне сказать при другой обстановке? Извольте немедленно отвечать!

– Я не знаю... не помню, – замялся расхоложенный Бобров.

– Я вам напомним, мой скрытный друг. Вы начали говорить о вчерашнем дне, потом о

каких-то прекрасных мгновениях, потом сказали, что я, наверно, давно уже заметила... но что? Вы этого не dokonчили... Извольте же говорить теперь. Я требую этого, слышите!..

Она глядела на него глазами, в которых сияла улыбка лукавая, и обещающая, и нежная в одно и то же время... Сердце Боброва сладко замерло в груди, и он почувствовал опять прилив прежней отваги. «Она знает, она сама хочет, чтобы я говорил», – подумал он, собираясь с духом.

Они остановились на самом краю платформы, где совсем не было публики. Оба были взволнованы. Нина ждала ответа, наслаждаясь остротой затеянной ею игры, Бобров искал слов, тяжело дышал и волновался. Но в это время послышались резкие звуки сигнальных рожков, и на станции поднялась суматоха.

– Так слышите же... Я жду, – шепнула Нина, быстро отходя от Боброва. – Для меня это гораздо важнее, чем вы думаете...

Из-за поворота железной дороги выскочил окутанный черным дымом курьерский поезд. Через несколько минут, громяхая на стрелках, он плавно и быстро замедлил ход и остановился у платформы... На самом конце его был прицеплен длинный, блестящий свежей синей краской служебный вагон, к которому устремились все встречающие. Кондуктора почтительно бросились раскрывать дверь вагона; из нее тотчас же выскочила, с шумом развертываясь, складная лестница. Начальник станции, красный от волнения и беготни, с перепуганным лицом торопил рабочих с отцепкой служебного вагона. Квашнин был одним из главных акционеров N-ской железной дороги и ездил по ее ветвям с почетом, как не всегда удостоивалось даже самое высшее железнодорожное начальство.

В вагон вошли только Шелковников, Андреа и двое влиятельных инженеров-бельгийцев. Квашнин сидел в кресле, расставив свои колоссальные ноги и выпятив вперед живот. На нем была круглая фетровая шляпа, из-под которой сияли огненные волосы; бритое, как у актера, лицо с обвисшими щеками и тройным подбородком, испещренное крупными веснушками, казалось заспанным и недовольным; губы складывались в презрительную, кислую гримасу.

При виде инженеров он с усилием приподнялся.

– Здравствуйте, господа, – сказал он сиплым басом, протягивая им поочередно для почтительных прикосновений свою огромную пухлую руку. – Ну-с, как у вас на заводе?

Шелковников начал докладывать языком служебной бумаги. На заводе все благополучно. Ждут только приезда Василия Терентьевича, чтобы в его присутствии пустить доменную печь и сделать закладку новых зданий... Рабочие и мастера наняты по хорошим ценам. Наплыв заказов так велик, что побуждает как можно скорее приступить к работам.

Квашнин слушал, отворотясь лицом к окну, и рассеянно разглядывал собравшуюся у служебного вагона толпу. Лицо его ничего не выражало, кроме брезгливого утомления.

Вдруг он прервал директора неожиданным вопросом:

– Э... па... послушайте... Кто эта девочка?

Шелковников заглянул в окно.

– Ну, вот эта... с желтым пером на шляпе, – нетерпеливо показал пальцем Квашнин.

– Ах, эта? – встрепнулся директор и, наклонившись к уху Квашнина, прошептал таинственно по-французски: Это дочь нашего заведующего складом. Его фамилия Зиненко.

Квашнин грузно кивнул головой. Шелковников продолжал свой доклад, но принципал опять перебил его:

– Зиненко... Зиненко... – протянул он задумчиво и не отрываясь от окна. – Зиненко... кто же такой этот Зиненко?.. Где я эту фамилию слышал?.. Зиненко?

– Он у нас заведует складом, – почтительно и умышленно бесстрастно повторил Шелковников.

– Ах, вспомнил! – догадался вдруг Василий Терентьевич. – Мне о нем в Петербурге говорили... Ну-с, продолжайте, пожалуйста.

Нина безошибочным женским чутьем поняла, что именно на нее смотрит Квашнин и о ней говорит в настоящую минуту. Она немного отвернулась, но лицо ее, раздумывавшееся от

кокетливого удовольствия, все-таки было, со всеми своими хорошенькими родинками, видно Василию Терентьевичу.

Наконец доклад окончился, и Квашнин вышел на площадку, устроенную в виде просторного стеклянного павильона сзади вагона.

Это был момент, для увековечения которого, как подумал Бобров, не хватало только хорошего фотографического аппарата. Квашнин почему-то медлил сходить вниз и стоял за стеклянной стеной, возвышаясь своей массивной фигурой над теснящейся около вагона группой, с широко расставленными ногами и брезгливой миной на лице, похожий на японского идола грубой работы. Эта неподвижность патрона, очевидно, коробила встречающих: на их губах застыли, сморщив их, заранее приготовленные улыбки, между тем как глаза, устремленные вверх, смотрели на Квашнина с подобострастием, почти с испугом. По сторонам дверцы застыли в солдатских позах молодцеватые кондуктора. Заглянув случайно в лицо опередившей его Нины, Бобров с горечью заметил и на ее лице ту же улыбку и тот же тревожный страх дикаря, взирающего на своего идола.

«Неужели же здесь только бескорыстное, почтительное изумление перед тремястами тысячами годового дохода? подумал Андрей Ильич. – Что же заставляет всех этих людей так униженно вилять хвостом перед человеком, который даже и не взглянет на них никогда внимательно? Или здесь есть какой-нибудь не доступный пониманию психологический закон подобострастия?»

Постояв немного, Квашнин решился двинуться и, предшествуемый своим животом, поддерживаемый бережно под руки поездной прислугой, спустился по ступеням на платформу.

На почтительные поклоны быстро расступившейся перед ним вправо и влево толпы он небрежно кивнул головой, выпятив вперед толстую нижнюю губу, и сказал гнусаво:

– Господа, вы свободны до завтрашнего дня.

Не дойдя до подъезда, он знаком подозвал к себе директора.

– Так вы, Сергей Валерьянович, представьте мне его, сказал он вполголоса.

– Зиненку? – предупредительно догадался Шелковников.

– Ну да, черт возьми! – внезапно раздражаясь, буркнул Квашнин. – Только не здесь, не здесь, – остановил он за рукав устремившегося было директора. – Когда я буду на заводе...

VII

Закладка каменных работ и открытие кампании новой домны произошли через четыре дня после приезда Квашнина. Предполагалось отпраздновать оба эти события с возможно большим торжеством, почему на соседние металлургические заводы: Крутогорский, Воронинский и Львовский, были заранее разосланы печатные приглашения.

Вслед за Василием Терентьевичем из Петербурга прибыли еще два члена правления, четверо бельгийских инженеров и несколько крупных акционеров. Между заводскими служащими носились слухи, будто бы правление ассигновало на устройство парадного обеда около двух тысяч рублей, однако эти слухи пока ничем еще не оправдались, вся закупка вин и припасов легла тяжелой данью на подрядчиков.

День выдался очень удачный для торжества, – один из тех ярких, прозрачных дней ранней осени, когда небо кажется таким густым, синим и глубоким, а прохладный воздух пахнет тонким, крепким вином. Квадратные ямы, вырытые под фундаменты для новой воздуходувной машины и бессемеровской печи, были окружены в виде «покоя» густой толпой рабочих. В середине этой живой ограды, над самым краем ямы, возвышался простой некрашеный стол, покрытый белой скатертью, на котором лежали крест и евангелие рядом с жестяной чашей для святой воды и кропилом. Священник, уже облаченный в зеленую, затканную золотыми крестами ризу, стоял в стороне, впереди пятнадцати рабочих, вызвавшихся быть певчими. Открытую сторону покоя занимали инженеры, подрядчики, старшие десятники, конторщики – пестрая, оживленная группа из двухсот с лишком человек.

На насыпи поместился фотограф, который, накрыв черным платком и себя и свой аппарат, давно уже возился, отыскивая удачную точку.

Через десять минут Квашнин быстро подкатил к площадке на тройке великолепных серых лошадей. Он сидел в коляске один, потому что, при всем желании, никто не смог бы поместиться рядом с ним. Следом за Квашниным подъехало еще пять или шесть экипажей. Увидев Василия Терентьевича, рабочие инстинктом узнали в нем «набольшего» и тотчас же, как один человек, снимали шапки. Квашнин величественно прошел вперед и кивнул головой священнику.

– Благословен бог наш, всегда, ныне и присно, и во веки веко-ов, – раздался среди быстро наступившей тишины дребезжащий, кроткий и гнусавый тенорок священника.

– Аминь, – подхватил довольно стройно импровизированный хор. Рабочие – их было до трех тысяч человек так же дружно, как кланялись Квашнину, перекрестились широкими крестами, склонили головы и потом, подняв их, встряхнули волосами... Бобров стал невольно присматриваться к ним. Впереди стояли двумя рядами степенные русаки-каменщики, все до одного в белых фартуках, почти все со льняными волосами и рыжими бородами, сзади них литейщики и кузнецы в широких темных блузах, перенятых от французских и английских рабочих, с лицами, никогда не отмываемыми от железной копоти, – между ними виднелись и горбоносые профили иноземных увриеров;⁶ сзади, из-за литейщиков, выглядывали рабочие при известковых печах, которых издали можно было узнать по лицам, точно обсыпанным густо мукою, и по воспаленным, распухшим, красным глазам...

Каждый раз, когда хор громко и стройно, хотя несколько в нос, пел «Спаси от бед рабы твоя, богородице», все эти три тысячи человек с однообразным тихим шелестом творили свои усердные крестные знамения и клали низкие поклоны. Что-то стихийное, могучее и в то же время что-то детское и трогательное почудилось Боброву в этой общей молитве серой огромной массы. Завтра все рабочие примутся за свой тяжкий, упорный, полусуточный труд. Почем знать, кому из них уже предначертано судьбою поплатиться на этом труде жизнью: сорваться с высоких лесов, опалиться расплавленным металлом, быть засыпанным щебнем или кирпичом? И не об этом ли непреложном решении судьбы думают они теперь, отвешивая низкие поклоны и встряхивая русыми кудрями, в то время когда хор просит богородицу спасти от бед рабы своя... И на кого, как не на одну только богородицу, надеяться этим большим детям, с мужественными и простыми сердцами, этим смиренным воинам, ежедневно выходящим из своих промозглых, настуженных землянок на привычный подвиг терпения и отваги?

Так, или почти так, думал Бобров, всегда склонный к широким, поэтическим картинам; и хотя он давно уже отвык молиться, но каждый раз, когда дребезжащий, далекий голос священника сменялся дружным возгласом клира, по спине и по затылку Андрея Ильича пробегала холодная волна нервного возбуждения. Было что-то сильное, покорное и самоотверженное в наивной молитве этих серых тружеников, собравшихся бог весть откуда, из далеких губерний, оторванных от родного, привычного угла для тяжелой и опасной работы...

Молебен кончился. Квашнин с небрежным видом бросил в яму золотой, но нагнуться с лопаточкой никак не мог это сделал за него Шелковников. Потом вся группа двинулась к доменным печам, возвышавшимся на каменных фундаментах своими круглыми черными массивными башнями.

Пятая, вновь выстроенная домна шла, как говорится на техническом жаргоне, «спелым ходом». Из проделанного внизу ее, на аршинной высоте, отверстия бил широким огненно-белым клокочущим потоком расплавленный шлак, от которого прыгали во все стороны голубые серные огоньки. Шлак стекал по наклонному желобу в котлы, подставленные к

⁶ Рабочих (от франц. *ouvrier*).

отвесному краю фундамента, и застывал в них зеленоватой густой массой, похожей на леденец. Рабочие, находившиеся на самой верхушке печи, продолжали без отдыха забрасывать в нее руду и каменный уголь, которые то и дело подымались вверх в железных вагонетках.

Священник окропил домну со всех сторон святою водой и, боязливо торопясь, спотыкающейся, старческой походкой отошел в сторону. Горновой мастер, жилистый чернолицый старик, перекрестился и поплевал на руки. То же сделали четверо его подручных. Потом они подняли с земли очень длинный стальной лом, долго раскачивали его и, одновременно крикнув, ударили им в самый низ печи. Лом звонко стукнулся в глиняную втулку. Зрители в боязливо-нервном ожидании зажмурили глаза; некоторые подались назад. Рабочие ударили в другой раз, потом в третий, в четвертый... и вдруг из-под острия лома брызнул фонтан нестерпимо яркого жидкого металла. Тогда горновой мастер кругообразными движениями лома расширил отверстие, и чугун медленно полился по песчаной бороздке, принимая оттенок огненной охры. Целые снопы блестящих крупных звезд летели во все стороны из отверстия печи, громко треща и исчезая в воздухе. От этого тихо, как будто лениво текущего металла шел такой страшный жар, что непривычные гости все время отодвигались и закрывали щеки руками.

От доменных печей инженеры двинулись в отдел воздуходувных машин. Квашнин заранее распорядился так, чтобы приехавшие с ним акционеры увидели завод во всей его колоссальной величине и сутолоке. Он совершенно верно рассчитал, что эти господа, пораженные массою сильных и совершенно новых для них впечатлений, будут потом рассказывать чудеса уполномочившему их общему собранию. И, глубоко зная психологию деловых людей, Василий Терентьевич уже считал делом решенным новый и весьма выгодный лично для него выпуск акций, на который до сих пор не соглашалось общее собрание.

И акционеры действительно были поражены до головной боли, до дрожи в ногах... В помещении воздуходувных машин они слышали, бледные от волнения, как воздух, нагнетаемый четырьмя вертикальными двухсаженными поршнями в трубы, устремлялся по ним с ревом, заставляющим трястись каменные стены здания. По этим чугунным, массивным, в два обхвата шириною трубам воздух проходил сквозь каупера, нагревался в них горящими газами до шестисот градусов и оттуда уже проникал во внутренность доменной печи, расплавляя руду и уголь своим жарким дуновением. Инженер, заведывающий воздуходувным отделением, давал объяснения. И хотя он нагибался поочередно к самым ушам акционеров и кричал во весь голос, надсаживая грудь, но за страшным гулом машин его слов не было слышно, а казалось только, что он беззвучно и напряженно шевелит губами.

Потом Шелковников повел гостей в сарай пудлинговых печей – высокое железное здание такой длины, что с одного его конца другой конец казался едва заметным просветом. Вдоль одной из стен сарая тянулась каменная платформа, на которой помещалось двадцать пудлинговых печей, формой напоминавших снятые с колес вагоны. В этих печах жидкий чугун смешивался с рудой и перерабатывался в сталь. Готовая сталь, стекая вниз по трубам, наполняла собой высокие железные штаббы – нечто вроде футляров без дна, но с ручками наверху – и застывала в них сплошными кусками, пудов по сорока весом. Свободная сторона сарая была занята рельсовым путем, по которому сновали, пыхтя, шипя и стуча, паровые краны, похожие на послушных и ловких животных, снабженных гибкими хоботами. Один кран хватал штаббу крючком за ручку, поднимал ее кверху, и из нее тяжело вываливался кусок стали в виде длинного правильного бруска ослепительно красного цвета. Но прежде чем этот кусок успевал упасть на землю, рабочий с необыкновенной ловкостью обматывал его цепью в руку толщиной. Второй кран, ухватив крючком эту цепь, плавно нес «штуку» в воздухе и клал рядом с другими на платформу, прикрепленную к третьему крану. Третий – влек этот груз на другой конец сарая, где четвертый, снабженный вместо крючка щипцами, снимал «штуки» с вагона и опускал их в раскрытые люки газовых печей, устроенных под

полом. Наконец пятый кран вытаскивал их из этих люков совершенно белыми от жара, клал поочередно под круглое колесо с острыми зубьями, вращавшееся чрезвычайно быстро на горизонтальной оси, и сорокапудовая стальная «штука» в течение пяти секунд разрезалась на две половины, как кусок мягкого пряника. Каждая половина поступала под семисотпудовый пресс парового молота, обжимавшего ее с такой силой и такой легкостью, точно она была из воска. Рабочие подхватывали ее тотчас же на ручные тележки и бегом тащили дальше, обдавая всех встречных блеском и жаром раскаленного железа.

Затем Шелковников показал своим гостям рельсопрокатный цех. Огромный брусок раскаленного металла проходил через целый ряд станков, катясь от одного к другому по валикам, которые вращались под полом, виднеясь на его поверхности только самой верхней своей частью. Брусок втискивался в отверстие, образуемое двумя стальными, вертевшимися в разные стороны цилиндрами, и пролезал между ними, заставляя их раздаваться и дрожать от напряжения. Дальше его ждал станок с еще меньшим отверстием между цилиндрами. Кусок стали делался после каждого станка все тоньше и длиннее и, несколько раз перебежав рельсопрокатку взад и вперед, принимал мало-помалу форму десятисаженного красного рельса. Сложным движением пятнадцати станков управлял всего один человек, помещавшийся над паровой машиной, на возвышении вроде капитанского мостика. Он двигал рукоятку вперед, и все цилиндры и валики начинали вертеться в одну сторону; двигал ее назад – и цилиндры и валики вертелись в обратную сторону. Когда рельс окончательно вытягивался, круглая пила, оглушительно визжа и сыпля фонтаном золотых искр, разрезала его на три части.

Затем все перешли в токарный цех, где главным образом отделявались вагонные и паровозные колеса. Кожаные приводы спускались там с потолка от толстого стального стержня, проходившего через весь сарай, и приводили в движение сотни две или три станков самых разных величин и фасонов. Этим приводам было так много, и они перекрещивались во стольких направлениях, что производили впечатление одной сплошной, запутанной и дрожащей ременной сети. Колеса некоторых станков вращались с быстротой двадцати оборотов в секунду, движение же других было так медленно, что почти не замечалось глазом. Стальные, железные и медные стружки, в виде красивых длинных спиралей, густо покрывали пол. Сверлильные станки оглашали воздух нестерпимым, тонким и резким визжанием. Там же была показана гостям машина, работающая гайки, – нечто вроде двух огромных стальных регулярно чавкающих челюстей. Двое рабочих всовывали в эту пасть конец накаливаемого длинного прута, и машина, равномерно отгрызая по куску металла, выплевывала их на землю в виде совершенно готовых гаек.

Когда, выйдя из токарного цеха, Шелковников предложил акционерам (он все время исключительно к ним обращался со своими разъяснениями) осмотреть гордость завода, девятисотсильный «Компаунд», то петербургские господа уже в достаточной степени были оглушены и расстроены всем виденным и слышанным. Новые впечатления не внушали им более никакого интереса, а только еще сильнее утомляли их. Лица их пылали от жара рельсопрокатки, руки и костюмы были перепачканы угольной сажей. На предложение директора они согласились, по-видимому, скрепя сердце, чтобы только не уронить достоинства уполномочившего их собрания.

Девятисотсильный «Компаунд» помещался в отдельном здании, очень чистеньком и нарядном, со светлыми окнами и мозаичным полом. Несмотря на громадность машины, она почти не издавала стука... Два поршня, в четыре сажени каждый, мягко и быстро ходили в цилиндрах, обитых деревянными планками. Двадцатифутовое колесо, со скользящими по нем двенадцатью канатами, вращалось также беззвучно и быстро; от его широкого движения суховатый жаркий воздух машинного отделения колебался сильными, равномерными порывами. Эта машина приводила в движение и воздуходувки, и прокатные станки, и все машины токарного цеха.

Осмотрев «Компаунд», акционеры были уже совершенно убеждены, что их испытания окончились, но неутомимый Шелковников вдруг обратился к ним с новым любезным

предложением:

– Теперь, господа, я вам покажу сердце всего завода, тот пункт, от которого он получает свою жизнь.

Он не повел, а почти повлек их в отделение паровых котлов. Однако после всего виденного «сердце завода» – двенадцать цилиндрических котлов пятисаженной длины и полутора сажень высоты каждый – не произвело на уставших акционеров особенно внушительного впечатления. Их мысли давно вращались вокруг ожидавшего их обеда, и они уже ничего не спрашивали, как раньше, а только рассеянно и равнодушно кивали головами на все разъяснения Шелковникова. Когда директор кончил, акционеры вздохнули с облегчением и очень искренно, с нескрываемым удовольствием приняли жать ему руку.

Теперь только один Андрей Ильич остался около паровых котлов. Стоя на краю глубокой полутемной каменной ямы, в которой помещались топки, он долго глядел вниз на тяжелую работу шестерых обнаженных до пояса людей. На их обязанности лежало непрерывно, и днем и ночью, подбрасывать каменный уголь в топочные отверстия. То и дело со звоном отворялись круглые чугунные заслонки, и тогда видно было, как в топках с гудением и ревом хлопотало ярко-белое бурное пламя. То и дело голые тела рабочих, высушенные огнем, черные от пропитавшей их угольной пыли, нагибались вниз, причем на их спинах резко выступали все мускулы и все позвонки спинного хребта. То и дело худые, цепкие руки набирали полную лопатку угля и затем быстрым, ловким движением совывали его в раскрытое пылающее жерло. Двое других рабочих, стоя наверху и также не останавливаясь ни на мгновение, сбрасывали вниз все новые и новые кучи угля, который громадными черными валами возвышался вокруг котельного отделения. Что-то удручающее, нечеловеческое чудилось Боброву в бесконечной работе кочегаров. Казалось, какая-то сверхъестественная сила приковала их на всю жизнь к этим разверстым пастям, и они, под страхом ужасной смерти, должны были без устали кормить и кормить ненасытное, прожорливое чудовище...

– Что, коллега, смотрите, как вашего Молоха упитывают? – услышал Бобров за своей спиной веселый, добродушный голос.

Андрей Ильич задрожал и чуть-чуть не полетел в кочегарную яму. Его поразило, почти потрясло это неожиданное соответствие шуточного восклицания доктора с его собственными мыслями. Даже и овладев собою, он долго не мог отделаться от странности такого совпадения. Его всегда интересовали и казались ему загадочными те случаи, когда, задумавшись о каком-нибудь предмете или читая о чем-нибудь в книге, он тотчас же слышал рядом с собою разговор о том же самом.

– Я вас, кажется, напугал, дорогой мой? – спросил доктор, внимательно заглянув в лицо Боброва. – Прошу прощения.

– Да, немножко... вы так неслышно подошли... я совсем не ожидал.

– Ох, батенька Андрей Ильич, давайте-ка полечим наши нервы. Никуда они у нас не годятся... Послушайте моего совета: берите отпуск да махните куда-нибудь за границу... Ну, что вам себя здесь растревлять? Поживите полгодика в свое удовольствие: пейте хорошее вино, ездите верхом побольше, насчет ламура ⁷ пройдитеесь...

Доктор подошел к краю кочегарки.

– Вот так преисподняя! – воскликнул он, заглянув вниз. – Сколько каждый такой самоварчик должен весить? Пудов восемьсот, я думаю?..

– Нет, побольше. Тысячи полторы.

– Ой, ой, ой... А ну как такая штучка вздумает того... лопнуть? Эффектное выйдет зрелище? А?

– Очень эффектное, доктор. Наверно, от всех этих зданий не останется камня на камне...

⁷ Любви (от франц. l'amour).

Гольдберг покачал головой и многозначительно свистнул.

– Отчего же это может случиться?

– Причины разные бывают... но чаще всего это случается таким образом: когда в котле остается очень мало воды, то его стенки раскаляются все больше и больше, чуть не докрасна. Если в это время пустить в котел воду, то сразу получается громадное количество паров, стенки не выдерживают давления, и котел разрывается.

– Так что это можно сделать нарочно?

– Сколько угодно... Не хотите ли попробовать? Когда вода совсем упадет в водомере, нужно только повернуть вентиль... видите, маленький круглый рычажок... И все тут.

Бобров шутил, но голос его был странно серьезен, а глаза смотрели сурово и печально. «Черт его знает, – подумал доктор, – милый он человек, а все-таки... психопат...»

– Вы что же на обед-то не пошли, Андрей Ильич? – спросил Гольдберг, отходя от кочегарки. – Хоть поглядели бы, какой зимний сад из лаборатории устроили. А сервировка, – так прямо на удивление.

– А ну их! Терпеть не могу инженерных обедов, – поморщился Бобров. – Хвастаются, орут, безобразно льстят друг другу, и потом эти неизменные пьяные тосты, во время которых ораторы обливают вином себя и соседей... Отвращение!..

– Да, да, совершенно верно, – рассмеялся доктор. – Я захватил начало. Квашнин – одно великолепие: «Милостивые государи, призвание инженера – высокое и ответственное призвание. Вместе с рельсовым путем, с доменной печью и с шахтой он несет в глубь страны семена просвещения, цветы цивилизации и...» какие-то еще плоды, я уж не помню хорошенько... Но ведь каков обер-жулик!.. «Сплотимся же, господа, и будем высоко держать святое знамя нашего благодетельного искусства!..» Ну, конечно, бешеные рукоплескания.

Они прошли несколько шагов молча. Лицо доктора вдруг омрачилось, и он заговорил со злобой в голосе:

– Да! Благодетельное искусство! А вот рабочие бараки из щепок выстроены. Больных не оберешься... дети, как мухи, мрут. Вот тебе и семена просвещения! То-то они запоют, когда брюшной тиф разгуляется в Иванкове.

– Да что вы, доктор? Разве уже есть больные? Это совсем ужасно было бы при такой тесноте.

Доктор остановился, тяжело переводя дух.

– Да как же не быть? – сказал он с горечью. – Вчера двух человек привезли. Один сегодня утром скончался, а другой если еще не умер, то вечером умрет непременно... А у нас ни медикаментов, ни помещения, ни фельдшеров опытных... Подождите, доиграются они!.. – прибавил Гольдберг сердито и погрозил кому-то в пространство кулаком.

VIII

Злые языки начали звонить. Про Квашнина еще до его приезда ходило на заводе так много пикантных анекдотов, что теперь никто не сомневался в настоящей причине его внезапного сближения с семейством Зиненок. Дамы говорили об этом с двусмысленными улыбками, мужчины в своем кругу называли вещи с циничной откровенностью их именами. Однако наверняка никто ничего не знал. Все с удовольствием ждали соблазнительного скандала.

В сплетне была доля правды. Сделав визит семейству Зиненок, Квашнин стал ежедневно проводить у них вечера. По утрам, около одиннадцати часов, в Шепетовскую экономию приезжала его прекрасная тройка серых, и кучер неизменно докладывал, что «барин просит барыню и барышень пожаловать к ним на завтрак». К этим завтракам посторонние не приглашались. Кушанье готовил повар-француз, которого Василий Терентьевич всюду возил за собою в своих частых разъездах, даже и за границу.

Внимание Квашнина к его новым знакомым выражалось очень своеобразно.

Относительно всех пятерых девиц он сразу стал на бесцеремонную ногу холостого и веселого дядюшки. Через три дня он уже называл их уменьшительными именами с прибавлением отчества – Шура Григорьевна, Ниночка Григорьевна, а самую младшую, Касю, часто брал за пухлый, с ямочкой, подбородок и дразнил «младенцем» и «цыпленочком», отчего она краснела до слез, но не сопротивлялась.

Анна Афанасьевна с игривой ворчливостью пеняла ему, что он совсем избалует ее девочек! Действительно, стоило только одной из них выразить какое-нибудь мимолетное желание, как оно тотчас же исполнялось. Едва Мака заикнулась, без всякого, впрочем, заднего умысла, что ей хотелось бы выучиться ездить на велосипеде, как на другой же день нарочный привез из Харькова прекрасную машину, стоившую по меньшей мере рублей триста... Бете он проиграл, держа с нею пари по поводу каких-то пустяков, пуд конфет, а Касс – брошку, в которой последовательно чередовались камни-коралл, аметист, сапфир и яшма, обозначающие составные буквы ее имени. Он услышал однажды, что Нина любит верховую езду и лошадей. Через два дня ей привели кровную английскую кобылу, в совершенстве выезженную под дамское седло. Барышни были очарованы. В их доме поселился добрый сказочный дух, угадывавший и тотчас же исполнявший их малейшие капризы. Анна Афанасьевна смутно чувствовала в этой щедрости что-то неприличное для хорошей семьи, но у нее не хватало ни смелости, ни такта, чтобы дать незаметно понять это Квашнину. На ее льстивые выговоры он только махал рукой и отвечал своим грубоватым, решительным басом:

– Ну вот еще, дорогая моя... пустяки какие выдумали...

Однако ни одну из ее дочерей он не предпочитал явно, всем им одинаково угождая и над всеми бесцеремонно подтрунивая. Молодые люди, посещавшие раньше дом Зиненок, предупредительно и бесследно исчезли. Зато постоянным гостем сделался Свежевский, бывший у них до того всего-навсего раза два или три. Его никто не звал; он явился сам, точно по чьему-то таинственному приглашению, и сразу сумел сделаться необходимым для всех членов семьи.

Впрочем, появлению его у Зиненок предшествовал маленький анекдот. Как-то, месяцев пять тому назад, Свежевский проговорился в кругу своих сослуживцев, что мечта его жизни – сделаться со временем миллионером и что он к сорока годам непременно будет им.

– Как же вы этого добьетесь, Станислав Ксаверьевич? – спросили его.

Свежевский захихикал и, загадочно потирая свои мокрые руки, ответил:

– Все дороги ведут в Рим.

Чутье ему подсказывало, что теперь в Шепетовской экономии обстоятельства складываются весьма удобно для его будущей карьеры. Так или иначе, он мог пригодиться всемогущему патрону. И Свежевский, ставя все на карту, смело лез Квашнину на глаза со своим угодливым хихиканьем. Он заигрывал с ним, как веселый дворовой щенок со свирепым меделянским псом, выражая и лицом и голосом ежеминутную готовность учинить какую угодно пакость по одному только мановению Василия Терентьевича.

Патрон не препятствовал. Тот самый Квашнин, который прогонял со службы без объяснения причин директоров и управляющих заводами, – этот самый Квашнин молча терпел в своем присутствии какого-то Свежевского... Тут пахло важной услугой, и будущий миллионер напряженно ждал своего момента.

Все это, передаваясь из уст в уста, стало известно и Боброву. Он не удивился: на семейство Зиненок у него сложился свой твердый и точный взгляд. Его взволновало лишь то, что сплетня не преминет задеть грязным хвостом и Нину... После разговора на вокзале эта девушка стала ему еще милее и дороже. Ему одному она доверчиво открыла свою душу, прекрасную даже в колебаниях и в слабостях. Все другие знали – думалось ему – только ее костюм и наружность. Ревность же с ее циничными сомнениями, вечно раздраженным самолюбием, с ее мелочностью и грубостью была чужда доверчивой и нежной натуре Боброва.

Хорошая, искренняя женская любовь ни разу еще не улыбнулась Андрею Ильичу. Он

был слишком застенчив и неуверен в себе, чтобы брать от жизни то, что ему, может быть, принадлежало по праву. Не удивительно, что теперь его душа радостно устремилась навстречу новому, сильному чувству.

Все эти дни Бобров находился под обаянием разговора на вокзале. Сотни раз он вспоминал его в мельчайших подробностях и с каждым разом прозревал в словах Нины более глубокое значение. По утрам он просыпался со смутным сознанием чего-то большого и светлого, что посетило его душу и обещает ему в будущем много блаженства.

Его неудержимо тянуло к Зиненкам: хотелось еще раз убедиться в своем счастье, еще раз слышать от Нины то робкие, то наивно смелые полупризнания. Но его стесняло присутствие Квашнина, и он утешал себя только тем, что патрон ни в каком случае не мог пробыть в Иванкове более двух недель.

Однако случай помог ему увидеться с Ниной до отъезда Квашнина. Это произошло в воскресенье, через три дня после торжественного открытия кампании доменной печи. Бобров ехал верхом на Фарватере по широкой, хорошо набитой дороге, ведущей с завода на станцию. Было часа два прохладного безоблачного дня. Фарватер шел бойкой ходой, прядая ушами и мотая косматой головой. На повороте около склада Бобров заметил даму в амазонке, спускавшуюся с горы на крупной гнедой лошади, и следом за нею – всадника на маленьком белом киргизе. Скоро он убедился, что это была Нина в темно-зеленой длинной развевающейся юбке, в желтых перчатках с крагами, с низеньким блестящим цилиндром на голове. Она уверенно и красиво сидела в седле. Стройная английская кобыла шла под нею эластической широкой рысью, круто собрав шею и высоко подымая тонкие, сухие ноги. Сопровождавший Нину Свежевский далеко отстал и старался, болтая локтями, трясясь и горбясь, поймать носком потерянное стремя.

Заметив Боброва, Нина пустила лошадь галопом. Встречный ветер заставлял ее придерживать правой рукой перед шляпы и наклонять вниз голову. Поравнявшись с Андреем Ильичем, она сразу осадилась лошадь, и та остановилась, нетерпеливо переступая ногами, раздувая широкие, породистые ноздри и звучно перебирая зубами удила, с которых комьями падала пена. От езды у Нины раскраснелось лицо, и волосы, выбившиеся на висках из-под шляпы, откинулись назад длинными тонкими завитками.

– Откуда у вас такая прелесть? – спросил Бобров, когда ему, наконец, удалось осадить танцевавшего Фарватера и, перегнувшись на седле, пожать кончики пальцев Нины.

– А правда, красавица? Это – подарок Квашнина.

– Я бы отказался от такого подарка, – грубо сказал Андрей Ильич, внезапно рассерженный беспечным ответом Нины.

Нина вспыхнула.

– На каком основании?

– Да на том, что... кто же для вас в самом деле Квашнин?.. Родственник?.. Жених?..

– Ах, боже мой, как вы щепетильны за других] – воскликнула Нина язвительно.

Но, увидев его страдающее лицо, она тотчас же смягчилась.

– Ведь ему это ничего не стоит... Он так богат...

Свежевский был уже в десяти шагах. Нина вдруг нагнулась к Боброву, ласково дотронулась концом хлыста до его руки и сказала вполголоса, тоном маленькой девочки, сознающей в своей вине:

– Ну, будет... будет, не сердитесь... Я ему возвращу лошадь назад, злючка вы этакий!.. Видите, что значит для меня ваше мнение.

Глаза Андрея Ильича засияли счастьем, и руки невольно протянулись к Нине. Но он ничего не сказал, а только глубоко, всей грудью, вздохнул. Свежевский подъезжал к нему, раскланиваясь и стараясь принять небрежную посадку.

– Вы, конечно, знаете о нашем пикнике? – крикнул еще издали Свежевский.

– В первый раз слышу, – ответил Андрей Ильич.

– Пикник по инициативе Василия Терентьевича? В Бешеной балке?..

– Не слышал.

– Да, да. Пожалуйста, приезжайте же, Андрей Ильич, – вмешалась Нина. – В среду, в пять часов вечера... сборный пункт – станция...

– Пикник по подписке?

– Кажется. Наверно не знаю.

Нина вопросительно и растерянно взглянула на Свежевского.

– По подписке, – подтвердил Свежевский. – Василий Терентьевич поручил мне исполнить некоторые его распоряжения. И я вам скажу, пикник будет колоссальный. Нечто сверхшикарное... Только все это покамест секрет. Вы будете поражены неожиданностью...

Нина не утерпела и прибавила кокетливо:

– Все это ведь из-за меня вышло. Третьего дня я говорила, что хорошо бы компанией куда-нибудь в лес проехаться, а Василий Терентьевич...

– Я не поеду, – сказал Бобров резко.

– Нет, поедете! – сверкнула глазами Нина. – Господа, марш, марш! – крикнула она, подымая лошадь с места галопом. – Андрей Ильич! Слушайте, что я вам скажу.

Свежевский остался сзади. Нина и Бобров скакали рядом, она – улыбаясь и заглядывая ему в глаза, он – хмурый и недовольный.

– Ведь это я для вас выдумала пикник, мой нехороший, подозрительный друг, – сказала она с глубокой нежностью в голосе. – Я хочу непременно узнать то, что вы не договорили тогда, на вокзале... Нам никто не помешает на пикнике.

И опять мгновенная перемена произошла в душе Боброва. Чувствуя у себя на глазах слезы умиления, он воскликнул страстно:

– О Нина! Как я люблю вас!

Но Нина как будто бы не слыхала этого внезапного признания. Она потянула поводья, заставила лошадь прейти в шаг и спросила:

– Так будете? Да? – Непременно. Непременно буду!

– Смотрите же... А теперь подождем моего кавалера и – до свиданья. Я тороплюсь домой...

Прощаясь с ней, он чувствовал через перчатку теплоту ее руки, ответившей ему долгим и крепким пожатием. Темные глаза Нины смотрели влюбленно.

IX

В среду, уже с четырех часов, станция была битком набита участниками пикника. Все чувствовали себя весело и непринужденно. Приезд Василия Терентьевича на этот раз окончился так благополучно, как никто даже не смел ожидать. Ни громов, ни молний не последовало, никого не попросили оставить службу, и даже, наоборот, носились слухи о прибавке в недалеком будущем жалованья большинству служащих. Кроме того, пикник обещал выйти очень занимательным. До Бешеной балки, куда условились отправиться, считалось, если ехать на лошадях, не более десяти верст очень красивой дороги... Ясная и теплая погода, прочно установившаяся в течение последней недели, никак не могла помешать поездке.

Приглашенных было до девяноста человек; они толпились оживленными группами на платформе, со смехом и громкими восклицаниями. Русская речь перемешивалась с французскими, немецкими и польскими фразами. Трое бельгийцев захватили с собой фотографические аппараты, рассчитывая делать при свете магния моментальные снимки... Всех интересовала полнейшая неизвестность относительно подробностей пикника. Свежевский с таинственным и важным видом намекал о каких-то «сюрпризах», но от объяснений всячески уклонялся.

Первым сюрпризом оказался экстренный поезд. Ровно в пять часов из паровозного депо вышел новый американский десятиколесный паровоз. Дамы не могли удержаться от криков удивления и восторга: вся громадная машина была украшена флагами и живыми цветами. Зеленые гирлянды дубовых листьев, перемешанные с букетами астр, георгин, левкоев и

гвоздики, оббивали спиралью ее стальной корпус, вились вверх по трубе, свешивались оттуда вниз, к свистку, и вновь подымались вверх, покрывая цветущей сценой будку машиниста. Из-под зелени и цветов стальные и медные части машины эффектно сверкали в золотых лучах осеннего заходящего солнца. Шесть вагонов первого класса, вытянувшиеся вдоль платформы, должны были отвезти участников пикника на 303-ю версту, откуда до Бешеной балки оставалось пройти не более пятисот шагов.

– Господа, Василий Терентьевич просил меня сообщить вам, что он берет все расходы по пикнику на себя, – говорил Свежевский, торопливо переходя от одной группы к Другой. – Господа, Василий Терентьевич просил меня передать всем приглашенным...

Около него составила большая кучка, он объяснил, в чем дело:

– Василий Терентьевич остался чрезвычайно доволен тем приемом, который ему сделало общество, и ему очень приятно отплатить любезностью за любезность. Он берет все расходы на себя...

И, не утерпев, движимый тем чувством, которое заставляет лакея хвастать щедростью своего барина, он добавил веско:

– Мы истратили на этот пикник три тысячи пятьсот девяносто рублей!

– Попролам с господином Квашниным? – послышался сзади насмешливый голос. Свежевский быстро обернулся и убедился, что этот ядовитый вопрос задал Андреа, глядевший на него со своим обычным невозмутимым видом, заложив руки глубоко в карманы брюк.

– Что вы изволили сказать? – переспросил Свежевский, густо краснея.

– Нет, это вы изволили сказать: «Мы истратили три тысячи», и я имею полное основание думать, что вы подразумеваете себя и господина Квашнина под этим «мы».., в таком случае я считаю приятным долгом заявить вам, что если я принимаю эту любезность от господина Квашнина, то ведь от господина Свежевского я ее могу и не принять...

– Ах, нет, нет... Вы не так меня поняли, – залепетал переконфуженный Свежевский. – Это все Василий Терентьевич. Я просто только... как доверенное лицо... Ну, вроде как приказчик, что ли, – добавил он с кислой усмешкой.

Почти одновременно с подачей экстренного поезда приехали Зиненки в сопровождении Квашнина и Шелковникова. Но не успел еще Василий Терентьевич вылезть из коляски, как случилось никем не предвиденное происшествие трагикомического свойства. Еще с утра жены, сестры и матери заводских рабочих, прослышав о предстоящем пикнике, стали собираться на вокзале; многие принесли с собою и грудных ребят. С выражением деревянного терпения на загорелых, изнуренных лицах сидели они уже много часов на ступенях вокзального крыльца и на земле, вдоль стен, бросавших длинные тени. Их было более двухсот. На расспросы станционного начальства они отвечали, что им нужно «рыжего и толстого начальника». Сторож пробовал их устранить, но они подняли такой оглушительный гвалт, что он только махнул рукой и оставил баб в покое.

Каждый подъезжавший экипаж вызывал между ними минутный переполох, но так как «рыжего и толстого начальника» до сих пор еще не было, то они тотчас же успокаивались.

Едва только Василий Терентьевич, схватившись руками за козлы, кряхтя и накренив всю коляску, ступил на подножку, как бабы быстро окружили его со всех сторон и повалились на колени. Испуганные шумом толпы, молодые, горячие лошади захрапели и стали метаться; кучер, натянув вожжи и совсем перевалившись назад, едва сдерживал их на месте. Сначала Квашнин ничего не мог разобрать: бабы кричали все сразу и протягивали к нему грудных младенцев. По бронзовым лицам вдруг потекли обильные слезы...

Квашнин увидел, что ему не вырваться из этого живого кольца, обступившего его со всех сторон.

– Стой, бабы! Не галдеть! – крикнул он, покрывая сразу своим басом их голоса. – Орете все, как на базаре. Ничего не слышу. Говори кто-нибудь одна: в чем дело?

Но каждой хотелось говорить одной. Крики еще больше усилились, и слезы еще обильнее потекли по лицам.

– Кормилец... родной... рассмотри ты нас... Никак не можно терпеть... Отошшали!.. Помираем... с ребятами помираем... От холода, можно сказать, прямодохнем!

– Что же вам нужно? От чего вы помираете? – крикнул опять Квашнин. – Да не орите все разом! Вот ты, молодка, рассказывай, – ткнул он пальцем в рослую и, несмотря на бледность усталого лица, красивую калужскую бабу. – Остальные молчи!

Большинство замолкло, только продолжало всхлипывать и слегка подвывать, утирая глаза и носы грязными подолами...

Все-таки зараз говорило не менее двадцати баб.

– Помираем от холоду, кормилец... Уж ты сделай милость, обдумай нас как-нибудь... Никакой нам возможности нету больше... Загнали нас на зиму в бараки, а в них нетто можно жить-то? Одна только слава, что бараки, а то как есть из лучины выстроены. И теперь-то по ночам невтерпеж от холоду... зуб на зуб не попадает... А зимой что будем делать? Ты хоть наших ребяток-то пожалей, пособи, голубчик, хоть печи-то прикажи поставить... Пишшу варить негде... На дворе пишшу варим... Мужики наши цельный день на работе... Иззябли... намокши... Придут домой – обсушиться негде.

Квашнин попал в засаду. В какую сторону он ни оборачивался, везде ему путь преграждали валявшиеся на земле и стоявшие на коленях бабы. Когда он пробовал протиснуться между ними, они ловили его за ноги и за полы длинного серого пальто. Видя свое бессилие, Квашнин движением руки подозвал к себе Шелковникова, и, когда тот пробрался сквозь тесную толпу баб, Василий Терентьевич спросил его по-французски, с гневным выражением в голосе:

– Вы слышали? Что все это значит?

Шелковников беспомощно развел руками и забормотал:

– Я писал в правление, докладывал... Очень ограниченное число рабочих рук... летнее время... косовица... высокие цены... правление не разрешило... ничего не поделаешь...

– Когда же вы начнете перестраивать рабочие бараки? – строго спросил Квашнин.

– Положительно неизвестно... Пусть потерпят как-нибудь... Нам раньше надо торопиться с помещениями для служащих.

– Черт знает что за безобразия творятся под вашим руководством, – проворчал Квашнин. И, обернувшись опять к бабам, он сказал громко: – Слушай, бабы! С завтрашнего дня вам будут строить печи и покроют ваши бараки тесом. Слышали?

– Слышали, родной... Спасибо тебе... Как не слышать, – раздались обрадованные голоса. – Так-то лучше небось, когда сам начальник приказал... спасибо тебе... ты уж нам, соколик, позволь и щепки собирать с постройки.

– Хорошо, хорошо, и щепки позволяю собирать.

– А то поставили везде черкесов⁸, чуть придешь за щепками, а он так сейчас нагайкой и норовит полоснуть.

– Ладно, ладно... Приходите смело за щепками, никто вас не тронет, – успокаивал их Квашнин. – А теперь, бабье, марш по домам, щи варить! Да смотрите у меня, живо! крикнул он подбадрывающим, молодецкатым голосом. – Вы распорядитесь, – сказал он вполголоса Шелковникову, – чтобы завтра сложили около барачков воза два кирпича... Это их надолго утешит. Пусть любят.

Бабы расходились совсем ошастливленные.

– Ты смотри, коли нам печей не поставят, так мы анжинеров позовем, чтобы нас греть приходили, – крикнула та самая калужская баба, которой Квашнин приказал говорить за всех.

– А то как же, – отозвалась бойко другая, – пусть нас тогда сам генерал греет. Ишь какой толстой да гладкой... С ним теплей будет, чем на печке.

⁸ В южном крае на заводах и в экономиях сторожами охотнее всего нанимают черкесов, отличающихся верностью и внушающих страх населению (Прим. автора.).

Этот неожиданный эпизод, окончившийся так благополучно, сразу развеселил всех. Даже Квашнин, хмурившийся сначала на директора, рассмеялся после приглашения баб отогреть их и примирительно взял Шелковникова под локоть.

– Видите ли, дорогой мой, – говорил он директору, тяжело подымаясь вместе с ним на ступеньки станции, – нужно уметь объясняться с этим народом. Вы можете обещать им все что угодно – алюминиевые жилища, восьмичасовой рабочий день и бифштексы на завтрак, – но делайте это очень уверенно. Клянусь вам: я в четверть часа потушу одними обещаниями самую бурную народную сцену...

Вспоминая подробности только что потушенного бабьего бунта и громко смеясь, Квашнин сел в вагон. Через три минуты поезд вышел со станции. Кучерам было приказано ехать прямо на Бешеную балку, потому что назад предполагалось возвратиться на лошадях, с факелами.

Поведение Нины смутило Андрея Ильича. Он ждал на станции ее приезда с нетерпеливым волнением, начавшимся еще вчера вечером. Прежние сомнения исчезли из его души; он верил в свое близкое счастье, и никогда еще мир не казался ему таким прекрасным, люди такими добрыми, а жизнь такой легкой и радостной. Думая о свидании с Ниной, он старался заранее его себе представить, невольно готовил нежные, страстные и красноречивые фразы и потом сам смеялся над собою... Для чего сочинять слова любви? Когда будет нужно, они придут сами и будут еще красивее, еще теплее. И Боброву вспоминались читанные им в каком-то журнале стихи, в которых поэт говорит еврей милой, что они не будут клясться друг другу, потому что клятвы оскорбили бы их доверчивую и горячую любовь.

Бобров видел, как подъехали следом за тройкой Квашнина две коляски Зиненок. Нина сидела в первой. В легком платье палевого цвета, изящно отделанном у полукруглого выреза корсажа широкими бледными кружевами того же тона, в широкой белой итальянской шляпе, украшенной букетом чайных роз, она показалась ему бледнее и серьезнее, чем обыкновенно. Она издали заметила Боброва, стоявшего на крыльце, но не послала ему, как он ожидал, долгого, многозначительного взгляда. Наоборот, ему даже показалось, будто она нарочно отвернулась от него. Когда же Андрей Ильич подбежал к ее коляске, чтобы помочь ей из нее выйти, Нина, точно предупреждая его, быстро и легко выскочила из экипажа на другую сторону. Нехорошее, зловещее чувство кольнуло сердце Андрея Ильича, но он тотчас же поспешил себя успокоить. «Бедная, она стыдится своего решения и своей любви. Ей кажется, что теперь всякий может свободно читать в ее глазах самые сокровенные мысли... О, святая, прелестная наивность!»

Андрей Ильич был уверен, что Нина, как и в прошлый раз на вокзале, сама найдет случай подойти к нему, чтобы с глазу на глаз перекинуться несколькими фразами. Однако она, по-видимому, вся поглощенная объяснением Квашнина с бабами, не торопилась этого сделать... Она ни разу, даже украдкой, не обернулась назад, чтобы увидеть Боброва. Сердце Андрея Ильича забило вдруг тревожно и тоскливо. Он решил подойти к семейству Зиненок, державшемуся тесной кучкой, – остальные дамы их, видимо, избегали, – и под шум, привлекавший общее внимание, спросить Нину, если не словами, то хоть взглядом, о причине ее невнимания.

Кланяясь Анне Афанасьевне и целуя ее руку, он заглядывал ей в лицо и старался прочесть в нем, знает ли она что-нибудь. Да, она несомненно знала: ее надломленные углом тонкие брови – признак лживого характера, как думал нередко Бобров, – недовольно сдвинулись, а губы приняли надменное выражение. Должно быть, Нина рассказала все матери и получила от нее выговор, – догадался Бобров и подошел к Нине.

Но Нина даже не взглянула на него. Ее рука неподвижно и холодно лежала в его дрожащей руке, когда они здоровались. Вместо ответа на приветствие Андрея Ильича она тотчас же повернула голову к Бете и обменялась с нею какими-то пустыми замечаниями... В этом поспешном маневре Боброву почудилось что-то виноватое, что-то трусливое, отступающее пред прямым ответом... Он почувствовал, что у него сразу ослабели ноги, а во

рту стало холодно... Он не знал, что подумать. Если бы Нина даже и проболталась матери, разве не могла она одним из тех быстрых, говорящих взглядов, которыми всегда инстинктивно располагают женщины, сказать ему: «Да, ты угадал, наш разговор известен... но я все та же, милый, я все та же, не тревожься». Однако она предпочла отвернуться. «Все равно, я во что бы то ни стало на пикнике дождусь ее ответа, – подумал Бобров, в смутной тоске предчувствуя что-то тяжелое и грязное. – Так или иначе, она должна будет ответить».

Х

На 303-й версте общество вышло из вагонов и длинной пестрой вереницей потянулось мимо сторожевой будки, по узкой дорожке, спускающейся в Бешеную балку... Еще издали на разгоряченные лица пахнуло свежестью и запахом осеннего леса... Дорожка, становясь все круче, исчезала в густых кустах орешника и дикой жимолости, которые сплелись над ней сплошным темным сводом. Под ногами уже шелестели желтые, сухие, скоробившиеся листья. Вдали сквозь пустую сеть чащи алела вечерняя заря.

Кусты окончились. Перед глазами гостей неожиданно открылась окруженная лесом широкая площадка, утрамбованная и усыпанная мелким песком. На одном ее конце стоял восьмигранный павильон, весь разукрашенный флагами и зеленью, на другом – крытая эстрада для музыкантов. Едва только первые пары показались из чащи, как военный оркестр грянул с эстрады веселый марш. Резвые, красивые медные звуки игриво понеслись по лесу, звонко отражаясь от деревьев и сливаясь где-то далеко в другой оркестр, который, казалось, то перегонял первый, то отставал от него. В восьмигранном павильоне вокруг столов, расставленных покоем и уже покрытых новыми белыми скатертями, суетилась прислуга, гремя посудой...

Как только музыканты кончили марш, все приглашенные на пикник разразились дружными аплодисментами. Они были в самом деле изумлены, потому что не далее как две недели тому назад эта площадка представляла собою косогор, усеянный редкими кустами.

Оркестр заиграл вальс.

Бобров видел, как Свежевский, стоявший рядом с Ниной, тотчас же, без приглашения, обхватил ее талию, и они понеслись, быстро вертясь, по площадке.

Едва Нину оставил Свежевский, как к ней подбежал сорный студент, за ним еще кто-то. Бобров танцевал плохо, да и не любил танцевать. Однако ему пришло в голову пригласить Нину на кадрили. «Может быть, – думал он, – мне удастся улучшить минуту для объяснения». Он подошел к ней, когда она, только что сделав два тура, сидела и торопливо обмахивала веером пылавшее лицо.

– Надеюсь, Нина Григорьевна, что вы оставили для меня одну кадрили?

– Ах, боже мой... Такая досада! У меня все кадрили разобраны, – ответила она, не глядя на него.

– Неужели? Так скоро? – спросил глухим голосом Бобров.

– Ну да, – Нина нетерпеливо и насмешливо приподняла плечи. – Зачем же вы опоздали? Я еще в вагоне обещала все кадрили...

– Вы, значит, совсем позабыли обо мне! – сказал он печально.

Звук его голоса тронул Нину. Она нервно сложила и опять развернула веер, но не подняла глаз.

– Вы сами виноваты. Почему вы не подошли?..

– Но ведь я только для того и приехал на пикник, чтобы вас видеть... Неужели вы шутили со мной, Нина Григорьевна?

Она молчала, в замешательстве теребя веер. Ее выручил подлетевший к ней молодой инженер. Она быстро встала и, даже не обернувшись на Боброва, положила свою тонкую руку в длинной белой перчатке на плечо инженера. Андрей Ильич следил за нею глазами... Сделав тур, она села, – конечно, умышленно, подумал Андрей Ильич, – на другом конце площадки. Она почти боялась его или стыдилась перед ним.

Прежняя, давно знакомая, тупая и равнодушная тоска овладела Бобровым. Все лица стали казаться ему пошлыми, жалкими, почти комичными. Размеренные звуки музыки непрерывными глухими ударами отзывались в его голове, причиняя раздражающую боль. Но он еще не потерял надежды и старался утешить себя разными предположениями: «Не сердится ли она за то, что я не прислал ей букета? Или, может быть, ей просто не хочется танцевать с таким мешком, как я? – догадался он. – Ну, что же, она, пожалуй, и права. Ведь для девушек эти пустяки так много значат... Разве не они составляют их радости и огорчения, всю поэзию их жизни?»

Когда стало смеркаться, вокруг павильона зажгли длинные цепи из разноцветных китайских фонарей. Но этого оказалось мало: площадка оставалась почти не освещенной. Вдруг с обоих ее концов вспыхнули ослепительным голубоватым светом два электрические солнца, до сих пор тщательно замаскированные зеленью деревьев. Березы и грабы, окружавшие площадку, сразу выдвинулись вперед. Их неподвижные кудрявые ветви, ярко и фальшиво освещенные, стали похожи на театральную декорацию первого плана. За ними, окутанные в серо-зеленую мглу, слабо вырисовывались на совершенно черном небе круглые и зубчатые деревья чащи. Кузнечики в степи, не заглушаемые музыкой, кричали так странно, громко и дружно, что казалось, будто кричит только один кузнечик, но кричит отовсюду: и справа, и слева, и сверху.

Бал длился, становясь все оживленнее и шумнее. Один танец следовал за другим. Оркестр почти не отдыхал... Женщины, как от вина, опьянели от музыки и от сказочной обстановки вечера.

Аромат их духов и разгоряченных тел странно смешивался с запахом степной полыни, увядающего листа, лесной сырости и с отдаленным тонким запахом скошенной отавы. Повсюду – то медленно, то быстро колыхались веера, точно крылья красивых разноцветных птиц, собирающихся лететь... Громкий говор, смех, шарканье ног о песок площадки сплетались в один монотонный и веселый гул, который вдруг с особенной силой вырывался вперед, когда музыка переставала играть.

Бобров все время неотступно следил за Ниной. Раза два она чуть-чуть не задела его своим платьем. На него даже пахнуло ветром, когда она пронеслась мимо. Танцуя, она красиво и как будто беспомощно изгибала левую руку на плече своего кавалера и так склоняла голову, как будто бы хотела к этому плечу прислониться... Иногда мелькал край ее нижней белой кружевной юбки, развеваемой быстрым движением, и маленькая ножка в черном чулке с тонкой щиколоткой и крутым подъемом икры. Тогда Боброву становилось почему-то стыдно, и он чувствовал в душе злобу на всех, кто мог видеть Нину в эти моменты.

Началась мазурка. Было уже около девяти часов. Нина, танцевавшая со Свежевским, воспользовалась тем временем, когда ее кавалер, дирижировавший мазуркой, устраивал какую-то сложную фигуру, и побежала в уборную, легко и быстро скользя ногами в такт музыке и придерживая обеими руками распустившиеся волосы. Бобров, видевший это с другого конца площадки, тотчас же поспешил за нею следом и стал у дверей... Здесь было почти темно; вся уборная – маленькая дощатая комнатка, пристроенная сзади павильона, – находилась в густой тени. Бобров решил дождаться Нины и во что бы то ни стало заставить ее объясниться. Сердце его часто и больно билось, пальцы, которые он судорожно стискивал, сделались влажными и холодными.

Через пять минут Нина вышла. Бобров выдвинулся из тени и преградил ей дорогу. Нина слабо вскрикнула и отшатнулась.

– Нина Григорьевна, за что вы меня так мучите? – сказал Андрей Ильич, незаметно для себя складывая руки умоляющим жестом. – Разве вы не видите, как мне больно. О! Вы забавляетесь моим горем... Вы смеетесь надо мной...

– Я не понимаю, что вам нужно. Я и не думала смеяться над вами, – ответила Нина упрямо и заносчиво.

В ней проснулся дух ее семейства.

– Нет? – уныло спросил Бобров. – Что же значит ваше сегодняшнее обращение со мной?

– Какое обращение?

– Вы холодны со мной, почти враждебны. Вы отворачиваетесь от меня... Вам даже самое присутствие мое на вечере неприятно...

– Мне решительно все равно...

– Это еще хуже... Я чувствую в вас какую-то непостижимую для меня и ужасную перемену... Ну, будьте же откровенны, Нина, будьте такой правдивой, какой я вас еще сегодня считал... Как бы ни была страшна истина, скажите ее. Лучше уж для вас и для меня сразу кончить...

– Что кончить? Я не понимаю вас...

Бобров сжал руками виски, в которые лихорадочно билась кровь.

– Нет, вы понимаете. Не притворяйтесь. Нам есть что кончить. У нас были нежные слова, почти граничившие с признанием, у нас были прекрасные минуты, соткавшие между нами какие-то нежные, тонкие узы... Я знаю, – вы хотите сказать, что я заблуждаюсь... Может быть, может быть... Но разве не вы велели мне приехать на пикник, чтобы иметь возможность поговорить без посторонних?

Нине вдруг стало жаль его.

– Да... Я просила вас приехать... – произнесла она, низко опустив голову. – Я хотела вам сказать... Я хотела... что нам надо проститься навсегда.

Бобров покачнулся, точно его толкнули в грудь. Даже в темноте было заметно, как его лицо побледнело.

– Проститься... – проговорил он задыхаясь. – Нина Григорьевна!.. Слово прощальное-тяжелое, горькое слово... Не говорите его...

– Я его должна сказать.

– Должны?

– Да, должна. Это не моя воля.

– Чья же?

Кто-то подходил к ним. Нина взгляделась в темноту и прошептала:

– Вот чья.

Это была Анна Афанасьевна. Она подозрительно оглядела Боброва и Нину и взяла свою дочь за руку.

– Зачем ты, Нина, убежала от танцев? – сказала она тоном выговора. – Стала где-то в темноте и болтаешь... Хорошее, нечего сказать, занятие... А я тебя ищи по всем закоулкам. Вы, сударь, – обратилась она вдруг бранчиво и громко к Боброву, – вы, сударь, если сами не умеете или не любите танцевать, то хоть барышням бы не мешали и не компрометировали бы их беседой tete-a-tete..⁹ в темных углах...

Она отошла и увлекла за собою Нину.

– О! Не беспокойтесь, сударыня: вашу барышню ничто не скомпрометирует! – закричал ей вдогонку Бобров и вдруг расхохотался таким странным, горьким смехом, что и мать и дочь невольно обернулись.

– Ну! Не говорила я тебе, что это дурак и нахал? дернула Анна Афанасьевна Нину за руку. – Ему хоть в глаза наплюй, а он хохочет... утешается... Сейчас будут дамы выбирать кавалеров, – прибавила она другим, более спокойным тоном. – Ступай и пригласи Квашнина. Он только что кончил играть. Видишь, стоит в дверях беседки.

– Мама! Да куда же ему танцевать? Он и поворачивается-то насилу-насилу.

– А я тебе говорю: ступай. Он когда-то считался одним из лучших танцоров в Москве... Во всяком случае, ему будет приятно.

Точно в далеком, сером колыхающемся тумане видел Бобров, как Нина быстро

⁹ Наедине (франц.).

перебежала всю площадку и, улыбающаяся, кокетливая, легкая, остановилась перед Квашниным, грациозно и просительно наклонив набок голову. Василий Терентьевич слушал ее, слегка над ней нагнувшись; вдруг он расхохотался, отчего вся его огромная фигура затряслась, и замотал отрицательно головою. Нина долго настаивала, потом вдруг сделала обиженное лицо и капризно повернулась, чтобы отойти. Но Квашнин с вовсе не свойственной ему живостью догнал ее и, пожав плечами с таким видом, как будто бы хотел сказать: «Ну, уж ничего не поделаешь... надо баловать детей...» – протянул ей руку. Все танцующие остановились и с любопытством устремили глаза на новую пару. Зрелище Квашнина, танцующего мазурку, обещало быть чрезвычайно комичным.

Василий Терентьевич выждал такт и вдруг, повернувшись к своей даме движением, исполненным тяжелой, но своеобразно величественной красоты, так самоуверенно и ловко сделал первое pas, что все сразу в нем почувствовали бывшего отличного танцора. Глядя на Нину сверху вниз, с гордым, вызывающим и веселым поворотом головы, он сначала не танцевал, а шел под музыку эластичной, слегка покачивающейся походкой. И огромный рост и толщина, казалось, не только не мешали, но, наоборот, увеличивали в эту минуту тяжеловесную грацию его фигуры. Дойдя до поворота, он остановился на одну секунду, стукнул вдруг каблук о каблук, быстро завертел Нину на месте и плавно, с улыбающимся снисходительно лицом, пронесся по самой середине площадки на толстых упругих ногах. Перед тем местом, откуда Квашнин взял Нину, он опять завертел свою даму в быстром, красивом движении и, неожиданно посадив на стул, сам остановился перед ней с низко опущенной головой.

Его тотчас же окружили со всех сторон дамы, упрасывая пройти еще один тур. Но он, утомленный непривычным движением, тяжело дышал и обмахивался платком.

– Довольно, mesdames... пощадите старика... – говорил он, смеясь и насилу переводя дух. – Не в мои годы пускаться в пляс. Пойдемте лучше ужинать...

Общество садилось за столы, гремя придвигаемыми стульями... Бобров продолжал стоять на том самом месте, где его покинула Нина. Чувства унижения, обиды и безнадежной, отчаянной тоски попеременно терзали его. Слез не было, но что-то жгучее щипало глаза, и в горле стоял сухой и колючий клубок... Музыка продолжала болезненно и однообразно отзываться в его голове.

– Батюшка мой! А я-то вас ищущи-ищу и никак не найду. Что это вы куда запропастились? – услышал Андрей Ильич рядом с собой веселый голос доктора. – Как только приехал, меня сейчас же за винт усадили, насилу вырвался... Идем ужинать. Я нарочно два места захватил, чтобы вместе...

– Ах, доктор. Идите один. Я не пойду, не хочется, – через силу отозвался Бобров.

– Не пойдете? Вот так история! – Доктор пристально поглядел в лицо Боброву. – Да что с вами, голубушка? Вы совсем раскисли, – заговорил он серьезно и с участием. – Ну, уж как хотите, а я вас не оставлю одного. Идем, идем, без всяких разговоров.

– Тяжело мне, доктор. Гадко мне, – ответил тихо Бобров, машинально, однако, следуя за увлекавшим его Гольдбергом.

– Пустяки, пустяки, идем! Будьте мужчиной, плюньте... «Или есть недуг сердечный? Иль на совести гроза?» неожиданно продекламировал Гольдберг, нежно и крепко обвивая рукой талию Боброва и ласково заглядывая ему в лицо. – Я вам сейчас пропишу универсальное средство: «Выпьем, что ли, Ваня, с холода да с горя?..» «Мы, по правде сказать, с этим Андреа уже порядочно наконьячились... Ах, и пьет же, курицын сын! Точно в пустую бочку льет... Ну, будьте мужчиной, милочка... Знаете ли, Андреа вами очень интересуется. Идем, идем!..»

Говоря таким образом, доктор тащил Боброва в павильон. Они уселись рядом. Соседом Андреа Ильича с другой стороны оказался Андреа..

Андреа, еще издали улыбавшийся Боброву, потеснился, чтобы дать ему место, и ласково погладил его по спине.

– Очень рад, очень рад, садитесь к нам поближе, сказал он дружелюбно. – Симпатичный

человек... люблю таких... хороший человек... Коньяк пьете?

Андреа был пьян. Его стеклянные глаза странно оживились и блестели на побледневшем лице (только полгода спустя стало известно, что этот безупречно сдержанный, трудолюбивый, талантливый человек каждый вечер напивался в совершенном одиночестве до потери сознания)...

«А и в самом деле, может быть, станет легче, если выпить, – подумал Бобров, – надо попробовать, черт возьми!»

Андреа дождался с наклоненной бутылкой в руке. Бобров подставил стакан.

– Та-ак? – протянул Андреа, высоко подымая брови.

– Так, – ответил Бобров с печальной и кроткой улыбкой.

– Ладно! До которых пор?

– Стакан сам скажет.

– Прекрасно. Можно подумать, что вы служили в шведском флоте. Довольно?

– Лейте, лейте.

– Друг мой, но вы, вероятно, выпустили из виду, что это Martel под маркой VSOP – настоящий, строгий, старый коньяк.

– Лейте, не беспокойтесь...

И Бобров подумал с злорадством: «Ну что ж, и буду пьян, как сапожник. Пусть полюбуется...»

Стакан был полон. Андреа поставил бутылку на стол и стал с любопытством наблюдать за своим соседом. Бобров залпом выпил вино и весь содрогнулся от непривычки.

– Дитя мое, у вас червяк? – спросил Андреа, серьезно поглядев в глаза Боброва.

– Да, червяк, – уныло покачал головою Андрей Ильич

– В сердце?

– Да.

– Гм!.. Значит, вы хотите еще?

– Лейте, – сказал Бобров покорно и печально.

Он с жадностью и с отвращением пил коньяк, стараясь забыться. Но странно, – вино не оказывало на него никакого действия. Наоборот, ему становилось еще тоскливее, и слезы еще больше жгли глаза.

Между тем лакеи разнесли шампанское, Квашнин встал со стула, держа двумя пальцами свой бокал и разглядывая через него огонь высокого канделябра. Все затихли. Слышно было только, как шипел уголь в электрических фонарях и звонко стрекотал неугомонный кузнечик.

Квашнин откашлялся.

– Милостивые государыни и милостивые государи! – начал он и сделал внушительную паузу. – Я думаю, никто из вас не усомнится в том искреннем чувстве признательности, с которым я подымаю этот бокал) Я никогда не забуду сделанного мне в Иванкове радушного приема, и сегодняшний маленький пикник благодаря очаровательной любезности посетивших его дам останется для меня навсегда приятнейшим воспоминанием. Пью за ваше здоровье, mesdames!

Он поднял кверху свой бокал, сделал им в воздухе широкий полукруг, отпил из него немного и продолжал:

– К вам, мои ближайшие сотрудники и товарищи, обращаю слово. Не осудите, если оно будет носить характер поучения: по летам я старик, сравнительно с большинством присутствующих, а на старика за поучение можно и не обижаться.

Андреа нагнулся к уху Боброва и прошептал:

– Посмотрите, какие рожи делает этот каналья Свежевский.

Свежевский действительно выражал своим лицом самое подобострастное и преувеличенное внимание. Когда Василий Терентьевич упомянул о своей старости, он и головой и руками начал делать протестующие жесты.

– Я все-таки повторю старое, избитое выражение газетных передовых статей, –

продолжал Квашнин. – Держите высоко наше знамя. Не забывайте, что мы соль земли, что нам принадлежит будущее... Не мы ли опутали весь земной шар сетью железных дорог? Не мы ли разрезаем недра земли и превращаем ее сокровища в пушки, мосты, паровозы, рельсы и колоссальные машины? Не мы ли, исполняя силой нашего гения почти невероятные предприятия, приводим в движение тысячемиллионные капиталы?.. Знайте, господа, что премудрая природа тратит свои творческие силы на создание целой нации только для того, чтобы из нее вылепить два или три десятка избранных. Имейте же смелость и силу быть этими избранными, господа! Ура!

– Ура! Ура! – закричали гости, и громче всех выделился голос Свежевского.

Все встали со своих мест и пошли чокаться с Василием Терентьевичем.

– Гнусная речь, – сказал доктор вполголоса.

После Квашнина поднялся Шелковников и закричал:

– Господа! За здоровье нашего уважаемого патрона, нашего дорогого учителя и в настоящее время нашего амфитриона: за здоровье Василия Терентьевича Квашнина! Ура!

– Ура-а! – подхватили единодушно все гости и опять пошли чокаться с Квашниным.

Потом началась какая-то оргия красноречия. Произносили тосты и за успех предприятия, и за отсутствующих акционеров, и за дам, участвующих на пикнике, и за всех дам вообще. Некоторые тосты были двусмысленны и игриво неприличны.

Шампанское, истребляемое дюжинами, оказывало свое действие: сплошной гул стоял в павильоне, и произносившему тост приходилось каждый раз, прежде чем начать говорить, долго и тщетно стучать ножом по стакану. В стороне, на отдельном маленьком столике, красавец Миллер приготовлял в большой серебряной чаше жженку... Вдруг опять поднялся Квашнин, на лице его играла добродушно-лукавая улыбка.

– Мне очень приятно, господа, что наш праздник как раз совпал с одним торжеством семейного характера, сказал он с обворожительной любезностью. – Поздравимте от всей души и пожелаем счастья нареченным жениху и невесте: за здоровье Нины Григорьевны Зиненко и... – он замаялся, потому что позабыл имя и отчество Свежевского...и нашего товарища, господина Свежевского...

Крики, встретившие слова Квашнина, были тем громче, что сообщаемая им новость оказалась совсем неожиданной. Андреа, услышавший рядом с собою восклицание, более похожее на мучительный стон, обернулся и увидел, что бледное лицо Боброва искривлено внутренним страданием.

– Коллега, вы еще не все знаете, – шепнул Андреа. – Послушайте-ка, я сейчас скажу пару теплых слов.

Он уверенно поднялся, уронив при этом свой стул и расплескав половину бокала, и воскликнул:

– Милостивые государи! Наш многоуважаемый хозяин из весьма понятной, великодушной скромности не dokonчил своего тоста... Мы должны поздравить нашего дорогого товарища, Станислава Ксаверьевича Свежевского, с новым назначением: с будущего месяца он займет ответственный пост управляющего делами правления общества... Это назначение будет, так сказать, свадебным подарком для молодых от глубокоуважаемого Василия Терентьевича... Я вижу на лице нашего высокочтимого патрона неудовольствие... Вероятно, я нечаянно выдал приготовленный им сюрприз и потому прошу прощения. Но, движимый чувством дружбы и уважения, я не могу не пожелать, чтобы наш дорогой товарищ, Станислав Ксаверьевич Свежевский, и на новом своем поприще в Петербурге оставался таким же деятельным работником и таким же любимым товарищем, как и здесь... Но я знаю, господа, никто из нас не позавидует Станиславу Ксаверьевичу (он остановился и с едкой насмешкой посмотрел на Свежевского)... и потому что все мы так дружно желаем ему всего хорошего, что...

Речь его была внезапно прервана громким лошадиным топотом. Из чаши точно вынырнул верхом на взмыленной лошади какой-то человек без шапки, с лицом, на котором застыло, перекосив его, выражение ужаса. Это был десятник, служивший у подрядчика

Дехтерева. Бросив на середине площадки лошадь, дрожавшую от усталости, он подбежал к Василию Терентьевичу и, фамильярно нагнувшись к его уху, стал что-то шептать... В павильоне сделалось вдруг страшно тихо, и, как раньше, слышно было только шипение угля и назойливый крик кузнечика.

Красное от вина лицо Квашнина побледнело. Он нервно поставил на стол бокал, который держал в руке, и вино из бокала расплескалось по скатерти.

– А бельгийцы? – спросил он отрывисто и хрипло.

Десятник отрицательно замотал головой и опять зашептал что-то под самым ухом Квашнина.

– А, черт! – воскликнул вдруг Квашнин, вставая с места и комкая в руках салфетку. – Надо же было... Подожди, ты сейчас же отвезешь на станцию телеграмму к губернатору, Господа, – громко и взволнованно обратился он к присутствующим, – на заводе – беспорядки... Надо принимать меры, и... и, кажется, нам лучше всего будет немедленно уехать отсюда...

– Так я и знал, – презрительно, со спокойной злобой сказал Андреа.

И в то время, когда все засуетились, он медленно достал новую сигару, нащупал в кармане спички и налил себе в стакан коньяку.

XI

Началась бестолковая, нелепая сумятица. Все поднялись с мест и забегали по павильону, толкаясь, крича и спотыкаясь об опрокинутые стулья. Дамы торопливо надевали дрожащими руками шляпки. Кто-то распорядился вдобавок погасить электрические фонари, и это еще больше усилило общее смятение... В темноте послышались истерические женские крики.

Было около пяти часов. Солнце еще не всходило, но небо заметно посветлело, предвещая своим серым, однообразным тоном начало ненастного дня. Бледный, тусклый, однообразный полусвет занимающегося утра, так быстро и неожиданно сменивший яркое сияние электричества, придавал картине общего смятения страшный, удручающий, почти фантастический характер. Человеческие фигуры казались привидениями из какой-то фантастической бредовой сказки. Измятые бессонной ночью, взволнованные лица были страшны. Обеденный стол, залитый вином и беспорядочно загроможденный посудой, напоминал о каком-то чудовищном, внезапно прерванном пиршестве.

Около экипажей суматоха была еще безобразнее: испуганные лошади храпели, взвивались на дыбы и не давались зануздывать; колеса сцеплялись с колесами, и слышался треск ломающихся осей; инженеры выкрикивали по именам своих кучеров, озлобленно ругавшихся между собою. В общем, получалось впечатление того оглушительного хаоса, который бывает только на больших ночных пожарах. Кого-то переехали или, может быть, раздавили. Был слышен вопль.

Бобров никак не мог отыскать Митрофана. Раза два или три ему послышалось, будто его кучер отзывается на крик откуда-то из самой середины перепутавшихся экипажей. Но проникнуть туда не было никакой возможности, потому что давка становилась с каждой минутой все сильнее и сильнее.

Вдруг в темноте вспыхнул высоко над толпой красным пламенем огромный керосиновый факел. Послышались крики: «С дороги! С дороги! Посторонитесь, господа! С дороги!» Стремительная человеческая волна, гонимая сильным напором, подхватила Андрея Ильича, понесла его за собой, чуть не сбросив с ног, и плотно прижала между задком одной пролетки и дышлом другой. Отсюда Бобров увидел, как между экипажами быстро образовалась широкая дорога и как по этой дороге проехал на своей тройке серых лошадей Квашнин. Факел, колебавшийся над коляской, обливал массивную фигуру Василия Терентьевича зловещим, точно кровавым, дрожащим светом.

Вокруг его коляски выла от боли, страха и озлобления стиснутая со всех сторон

обезумевшая толпа... У Боброва что-то стукнуло в висках. На мгновение ему показалось, что это едет вовсе не Квашнин, а какое-то окровавленное, уродливое и грозное божество, вроде тех идолов восточных культов, под колесницы которых бросаются во время религиозных шествий опьяневшие от экстаза фанатики. И он задрожал от бессильного бешенства.

Когда проехал Квашнин, сразу стало немного свободнее, и Бобров, обернувшись назад, увидел, что дышло, давившее ему спину, принадлежало его же собственной пролетке. Митрофан стоял около козел и зажигал факел.

– Скорей на завод, Митрофан! – крикнул Андрей Ильич, садясь. – Чтоб через десять минут поспеть, слышишь!

– Слушаю-с, – ответил мрачно Митрофан.

Он обошел пролетку кругом, чтобы влезть на козлы, как подобает всякому хорошему кучеру, справа, разобрал вожжи и прибавил, полуобернувшись назад:

– Только ежели лошадей зарежем, вы тогда, барин, не сердчайте.

– Ах, все равно...

Осторожно, с громадным трудом выбравшись из этой массы сбившихся в кучу лошадей и экипажей и выехав на узкую лесную дорогу, Митрофан пустил вожжи. Застоявшиеся, возбужденные лошади подхватили, и началась сумасшедшая скачка. Пролетка подпрыгивала на длинных, протянувшихся поперек дороги корнях, раскатывалась на ухабах и сильно накренялась то на левый, то на правый бок, заставляя и кучера и седока балансировать.

Красное пламя факела металось во все стороны с бурным ропотом. Вместе с ним металось вокруг пролетки длинные, причудливые тени деревьев... Казалось, что тесная толпа высоких, тонких и расплывчатых призраков неслась рядом с пролеткой в какой-то нелепой пляске. Призраки то перегоняли лошадей, вырастая до исполинских размеров, то вдруг падали на землю и, быстро уменьшаясь, исчезали за спиной Боброва, то забежали на несколько секунд в чащу и опять внезапно появлялись около самой пролетки, то сдвигались тесными рядами и покачивались и вздрагивали, точно перешептываясь о чем-то между собою... Несколько раз ветви частого кустарника, окаймлявшего дорогу, хлестали Митрофана и Боброва по лицам, будто чьи-то цепкие, тонкие, протянутые вперед руки.

Лес кончился. Лошади зашлепали ногами по какой-то луже, в которой запрыгало и зарябило багровое блестящее пламя факела, и вдруг дружным галопом вывезли на крутой пригорок. Впереди расстилалось черное, однообразное поле.

– Да погоняй же, Митрофан, мы с тобой никогда не доедем! – крикнул Бобров нетерпеливо, хотя пролетка в без того неслась так, что дыхание захватывало. Митрофан проворчал что-то недовольным басом и ударил кнутом Фарватера, скакавшего, изогнувшись кольцом, на пристяжке. Кучер недоумевал, что сделалось с его барином, всегда любимым и жалевшим своих лошадей.

На горизонте огромное зарево отражалось неровным трепетанием в Ползущих по небу тучах. Бобров глядел на вспыхивающее небо, и торжествующее, нехорошее злорадство шевелилось в нем. Дерзкий, жестокий гост Андрея сразу открыл ему глаза на все: и на холодную сдержанность Нины в продолжение нынешнего вечера, и на негодование ее мамы во время мазурки, и на близость Свежевского к Василию Терентьевичу, и на все слухи и сплетни, ходившие по заводу об ухаживании самого Квашнина за Ниной... «Так и надо ему, так и надо, рыжему чудовищу, – шептал Бобров, ощущая такой прилив злобы и такое глубокое сознание своего унижения, что даже во рту у него пересохло. – О, если бы мне теперь встретиться с ним лицом к лицу, я бы надолго смутил самодовольный покой этого покупателя свежего мяса, этого грязного, жирного мешка, битком набитого золотом. Я бы оставил хорошую печать на его медном лбу!..»

Чрезмерное количество выпитого сегодня вина не опьянило Андрея Ильича, но действие его выразилось в необычайном подъеме энергии, в нетерпеливой и болезненной жажде движения... Сильный озноб потрясал его тело, зубы так сильно стучали, что приходилось крепко стискивать челюсти, мысль работала быстро, ярко и беспорядочно, как в горячке. Андрей Ильич, незаметно для самого себя, то разговаривал вслух, то стонал, то

громко и отрывисто смеялся, между тем как вальцы его сами собой крепко сжимались в кулаки.

– Барин, да вы никак больны? Нам бы домой ехать, – сказал несмело Митрофан.

Эти слова вдруг привели Боброва в неистовство, и он закричал хрипло;

– Не разговаривай, дурак!.. Гони!..

Скоро с горы стал виден и весь завод, окутанный молочно-розовым дымом. Сзади, точно исполинский костер, горел лесной склад. На ярком фоне огня суетливо копошилось множество маленьких черных человеческих фигур. Еще издали было слышно, как трещало в пламени сухое дерево. Круглые башни кауперов и доменных печей то резко и отчетливо выдвигались из мрака, то опять совершенно тонули в нем. Красное зарево пожара ярким и грозным блеском отражалось в бурной воде большого четырехугольного пруда. Высокая плотина этого пруда вся сплошь, без просветов, была покрыта огромной черной толпой, которая медленно подвигалась вперед и, казалось, кипела. И необычайный – смутный и зловещий – гул, похожий на рев отдаленного моря, доносился от этой страшной, густой, сжатой на узком пространстве человеческой массы.

– Куда тебя несет, дьявол! Не видишь разве, что едешь на людей, сволочь! – услышал Бобров впереди грубый окрик, и на дороге, точно вынырнув из-под лошадей, показался рослый бородатый мужик, без шапки, с головой, сплошь забинтованной белыми тряпками. – Погоняй, Митрофан! – крикнул Бобров.

– Барин! Подождли, – услышал он дрожащий голос Митрофана.

Но тотчас же он услышал свист брошенного сзади камня и почувствовал острую боль удара немного выше правого виска. На руке, которую он поднес к ушибленному месту, оказалась теплая, липкая кровь.

Пролетка опять понеслась с прежней быстротой. Зарево становилось все сильнее. Длинные тени от лошадей перебегали с одной стороны дороги на другую. Временами Боброву начинало казаться, что он мчится по какому-то крутому кособоку и вот-вот вместе с экипажем и лошадьми полетит с отвесной кручи в глубокую пропасть. Он совершенно потерял способность опознаваться и никак не мог узнать места, по которому проезжал. Вдруг лошади стали.

– Ну, чего же ты остановился, Митрофан? – раздражительно закричал Бобров.

– А куда ж я поеду, коли впереди люди? – отозвался Митрофан с угрюмым озлоблением в голосе.

Бобров, как ни всматривался в серый предутренний полумрак, ничего не видел, кроме какой-то черной неровной стены, над которой пламенело небо.

– Каких ты там еще людей видишь, черт возьми! – выругался он, слезая с пролетки и обходя лошадей, покрытых белыми комьями пены.

Но едва он отошел пять шагов от лошадей, как убедился, что то, что он принимал за черную стену, была большая, тесная толпа рабочих, запружавшая дорогу и медленно, в молчании подвигавшаяся вперед. Пройдя машинально вслед за рабочими шагов пятьдесят, Андрей Ильич повернул назад, чтобы найти Митрофана и объехать завод с другой стороны. Но ни Митрофана, ни лошадей на дороге не было. Митрофан ли поехал в другую сторону отыскивать барина, или сам Бобров заблудился – понять этого Андрей Ильич не мог. Он стал кричать кучера – никто ему не откликнулся. Тогда Бобров решил догнать только что оставленных рабочих и с этой целью опять повернулся и побежал, как ему казалось, в прежнюю сторону. Но, странно, рабочие точно провалились сквозь землю, и вместо них Бобров уперся с разбегу в невысокий деревянный забор.

Забору этому не было конца ни вправо, ни влево. Бобров перелез через него и стал взбираться по какому-то длинному, крутому откосу, поросшему частым бурьяном. Холодный пот струился по его лицу, язык во рту сделался сух и неподвижен, как кусок дерева; в груди при каждом вздохе ощущалась острая боль; кровь сильными, частыми ударами била в темя; ушибленный висок нестерпимо ныл...

Ему казалось, что подъем бесконечен, и тупое отчаяние овладевало его душой. Но он

продолжал карабкаться наверх, ежеминутно падая, ссаживая колени и хватаясь руками за колючие кусты. Временами ему представлялось, что он спит и видит один из своих лихорадочных болезненных снов. И панический переполох после пикника, и долгое блуждание по дороге, и бесконечное карабканье по насыпи – все было так же тяжело, нелепо, неожиданно и ужасно, как эти кошмары.

Наконец откос кончился, и Бобров сразу узнал железнодорожную насыпь. С этого места фотограф снимал накануне, во время молебна, группу инженеров и рабочих. Совершенно обессиленный, он сел на шпалу, и в ту же минуту с ним произошло что-то странное: ноги его вдруг болезненно ослабли, в груди и в брюшной полости появилось тягучее, щемящее, отвратительное раздражение, лоб и щеки сразу похолодели. Потом все повернулось перед его глазами и вихрем понеслось мимо, куда-то в беспредельную глубину.

Андрей Ильич очнулся от обморока по крайней мере через полчаса. Внизу, у подножия насыпи, там, где обыкновенно с несмолкаемым грохотом день и ночь работал исполинский завод, была необычная, жуткая тишина. Бобров с трудом поднялся на ноги и пошел по направлению к доменным печам. Голова его была так тяжела, что с трудом держалась на плечах, больной висок при каждом движении причинял невыносимую боль. Ощупывая рану, он опять почувствовал пальцами липкое и теплое прикосновение крови. Кровь была также у него во рту и на губах: он слышал ее соленый, металлический вкус. Сознание еще не вполне вернулось к нему, и усилие вспомнить и уяснить прошедшее причиняло ему сильную головную боль. Острая тоска и отчаянная, беспредметная злоба переполняли его душу... Утро заметно уже близилось. Все было серо, холодно и мокро: и земля, и небо, и тощая желтая трава, и бесформенные кучи камня, сваленного по сторонам дороги. Бобров бесцельно бродил между опустевших заводских зданий и, как это случается иногда при особенно сильных душевных потрясениях, говорил сам с собою вслух. Ему хотелось удержать, привести в порядок разбежавшиеся мысли.

– Ну, скажи же, скажи, что мне делать? Скажи ради бога, – страстно шептал он, обращаясь к кому-то другому, *постороннему*, как будто сидевшему внутри его. – Ах, как мне тяжело! Ах, как мне больно!.. Невыносимо больно!.. Мне кажется, я убью себя... Я не выдержу этой муки...

А другой, *посторонний*, возражал из глубины его души, также вслух, но насмешливо-грубо:

– Нет, ты не убьешь себя. Зачем перед собой притворяться?.. Ты слишком любишь ощущение жизни, для того чтобы убить себя. Ты слишком немощен духом для этого. Ты слишком боишься физической боли. Ты слишком много размышляешь.

– Что же мне делать? Что же мне делать? – шептал опять Андрей Ильич, ломая руки. – Она такая нежная, такая чистая – моя Нина! Она была у меня одна во всем мире. И вдруг – о, какая гадость! – продать свою молодость, свое девственное тело!..

– Не ломайся, не ломайся; к чему эти пышные слова старых мелодрам, – иронически говорил *другой*. – Если ты так ненавидишь Квашнина, поди и убей его.

– И убью! – закричал Бобров, останавливаясь и бешено подымая кверху кулаки. – И убью! Пусть он не заражает больше честных людей своим мерзким дыханием. И убью!

Но *другой* заметил с ядовитой насмешкой:

– И не убьешь... И отлично знаешь это. У тебя нет на это ни решимости, ни силы... Завтра же опять будешь благоразумен и слаб...

Среди этого ужасного состояния внутреннего раздвоения наступали минутные проблески, когда Бобров с недоумением спрашивал себя: что с ним, и как он попал сюда, и что ему надо делать? А сделать что-то нужно было непременно, сделать что-то большое и важное, но что именно, – Бобров забыл и морщился от боли, стараясь вспомнить. В один из таких светлых промежутков он увидел себя стоящим над кочегарной ямой. Ему тотчас же с необычайной яркостью вспомнился недавний разговор с доктором на этом самом месте.

Внизу никого из кочегаров не было: все они разбежались. Котлы давно успели охладеть. Только в двух крайних топках еще рдел еле-еле каменный уголь... Безумная мысль

вдруг, как молния, мелькнула в мозгу Андрея Ильича. Он быстро нагнулся, свесил ноги вниз, потом повис на руках и прыгнул в кочегарку.

В куче угля была воткнута лопата. Бобров схватил ее и торопливыми движениями принялся совать уголь в оба топочные отверстия. Через две минуты белое бурное пламя уже гудело в топках, а в котле глухо забурилась вода. Бобров все бросал и бросал, лопату за лопатой, уголь; в то же время он лукаво улыбался, кивал кому-то невидимому головой и издавал отрывистые, бессмысленные восклицания. Болезненная, мстительная и страшная мысль, мелькнувшая еще там, на дороге, овладевала им все более. Он смотрел на огромное тело котла, начинавшего гудеть и освещаться огненными отблесками, и оно казалось ему все более живым и ненавистным.

Никто не мешал. Вода быстро убавлялась в водомере. Клокотание котла и гудение топок становилось все грознее и громче.

Но непривычная работа скоро утомила Боброва. Жилы в висках стали биться с горячечной быстротой и напряженностью, кровь из раны потекла по щеке теплой струей. Безумная вспышка энергии прошла, а внутренний, *посторонний*, голос заговорил громко и насмешливо:

– Ну, что же, остается сделать одно еще движение! Но ты его не сделаешь... Basta...¹⁰ Ведь все это смешно, и завтра ты не посмеешь даже признаться, что ночью хотел взрывать паровые котлы.

Солнце уже показалось на горизонте в виде тусклого большого пятна, когда Андрей Ильич пришел в заводскую больницу.

Доктор, только что прервавший на минуту перевязку раненых и изувеченных людей, умывал руки под медным рукомойником. Фельдшер стоял рядом и держал полотенце. Увидев вошедшего Боброва, доктор попятился назад от изумления.

– Что с вами, Андрей Ильич, на вас лица нет? – проговорил он с испугом.

Действительно, вид у Боброва был ужасный. Кровь запеклась черными сгустками на его бледном лице, выпачканном во многих местах угольной пылью. Мокрая одежда висела ключьями на рукавах и на коленях; волосы падали беспорядочными прядями на лоб.

– Да говорите же, Андрей Ильич, ради бога, что с вами случилось? – повторил Гольдберг, наскоро вытирая руки и подходя к Боброву.

– Ах, это все пустяки... – простонал Бобров. – Ради бога, доктор, дайте морфия... Скорее морфия, или я сойду с ума!.. Я невыразимо страдаю!..

Гольдберг взял Андрея Ильича за руку, поспешно увел в другую комнату и, плотно притворив дверь, сказал:

– Послушайте, я догадываюсь, что вас терзает... Поверьте, мне вас глубоко жаль, и я готов помочь вам... Но... голубушка моя, – в голосе доктора послышались слезы, милый мой Андрей Ильич... не можете ли вы перетерпеть как-нибудь? Вы только вспомните, скольких нам трудов стоило побороть эту поганую привычку! Беда, если я вам теперь сделаю инъекцию... вы уже больше никогда... понимаете, никогда не отстанете.

Бобров повалился на широкий клеенчатый диван лицом вниз и пробормотал сквозь стиснутые зубы, весь дрожа от озноба:

– Все равно... мне все равно, доктор... Я не могу больше выносить.

Доктор вздохнул, пожал плечами и вынул из аптечного шкафа футляр с правацовским шприцем. Через пять минут Бобров уже лежал на клеенчатом диване в глубоком сне. Сладкая улыбка играла на его бледном, исхудавшем за ночь лице. Доктор осторожно обмывал его голову.

1896

¹⁰ Хватит, довольно (*итал.*).